

ОДНО РЕШЕНИЕ. ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ.
ТЫСЯЧИ ПОСЛЕДСТВИЙ.

ПРОТОКОЛ
ПОСЛЕДНЕГО ЗАВТРА

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

2026

Чернова Галина

Протокол последнего завтра

«Автор»

2026

Галина Ч. М.

Протокол последнего завтра / Ч. М. Галина — «Автор», 2026

А что, если прошлое можно изменить — но каждое спасённое будущее уничтожает другое? Алексей Воронцов создаёт «Хронос» — устройство, способное вмешиваться в причинность и переписывать историю. Сначала кажется, что человечество получило величайший дар: можно предотвратить катастрофы, спасти погибших и исправить ошибки, которые прежде казались неизбежными. Но у каждой поправки есть цена. Воронцов оказывается перед выбором, от которого невозможно уклониться: спасти тех, кого он любит, или сохранить право миллионов ещё не родившихся людей на собственную судьбу. Ему предстоит встретиться с человеком, который считает себя не разрушителем, а спасителем, узнать цену собственной памяти и пройти через десятки вариантов реальности, прежде чем понять главное: иногда самое опасное знание — это знание о том, каким могло бы быть завтра. «Протокол последнего завтра» — философский фантастический триллер о времени, любви, памяти и цене попытки сделать мир идеальным.

© Галина Ч. М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ЗАПИСЬ 0	7
Изъятый контур	7
ЗАПИСЬ 1	14
Нулевая секунда	14
ЗАПИСЬ 2	21
Мелкие перемены	21
ЗАПИСЬ 3	28
Человек из будущего	28
ЗАПИСЬ 4	35
Город, в котором не ошибаются	35
ЗАПИСЬ 5	42
Цена исправления	42
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Чернова Галина

Протокол последнего завтра

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН
ПРОТОКОЛ
ПОСЛЕДНЕГО ЗАВТРА

2026

Протокол последнего завтра

Фантастический роман

2026. Все права защищены.

Никакая часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме без письменного разрешения правообладателя.

Настоящее произведение является художественным вымыслом. Все события, персонажи и учреждения вымышлены; любые совпадения с реальными лицами и организациями случайны.

**«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПАСТИ МИР.
МЫ УЖЕ ПЫТАЛИСЬ.»**

А. Воронцов

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПИСЬ 0

Изъятый контур

ЗАПИСЬ 1

Нулевая секунда

ЗАПИСЬ 2

Мелкие перемены

ЗАПИСЬ 3

Человек из будущего

ЗАПИСЬ 4

Город, в котором не ошибаются

ЗАПИСЬ 5

Цена исправления

ЗАПИСЬ 6

Марина

ЗАПИСЬ 7

Операторы

ЗАПИСЬ 8

Реестр Лангера

ЗАПИСЬ 9

Ложная память

ЗАПИСЬ 10

Веер

ЗАПИСЬ 11

Неправильное понимание

ЗАПИСЬ 12

Раскол

ЗАПИСЬ 13

Агата

ЗАПИСЬ 14

Донор истории

ЗАПИСЬ 15

Сглаживание

ЗАПИСЬ 16

Реестр открыт

ЗАПИСЬ 17

Точка невозврата

ЗАПИСЬ 18

Последнее завтра

ЗАПИСЬ 19

Мы уже пытались

ЗАПИСЬ 20

Ловушка Лангера

ЗАПИСЬ 21

Запуск

ЗАПИСЬ 22

Дождь

ЭПИЛОГ

Не знаю

ЗАПИСЬ 0

Изъятый контур

Найдено: архив НИИ темпоральных систем, корпус Б, шкаф 14, дело № 0411/49 «Белова М.А.», личное.

Пометка на обложке: «Изъято из нестабильного контура. Хранить без доступа».

Институт назывался по-старому — НИИ темпоральных систем, — хотя уже лет тридцать никто не произносил этого названия вслух. Он стал просто «архивом»: три серых корпуса, отапливаемых наполовину, где под потолками оседала пыль от тысяч не востребуемых бумаг. В сорок девятом здесь хотели строить будущее. В восемьдесят седьмом здесь хранили прошлое, которое некому было читать.

Костя Перекрёстов, двадцать четыре года, архивист пятого разряда, ненавидел эти залы той глухой, ежедневной ненавистью, которую люди испытывают только к работе. Не к людям, не к месту — к самому акту, к тому, что утром нужно вставать, ехать через полгорода и заходить в здание, где воздух не менялся с прошлого века. Цифровизация фонда двигалась со скоростью, зависящей от того, сколько ламп горело в коридоре. Ламп горело мало.

В его должностной инструкции значилось: «приведение документального фонда в машинночитаемый вид». На практике это означало, что Костя вскрывал пыльные папки, смотрел сквозь них, сканировал, заносил в реестр, а потом относил в утиль, потому что никому в мире больше не было дела до людей, которые когда-то подшивали бумаги в надежде, что их прочитают. Иногда ему казалось, что вся его работа — это акт бережной вторичной переработки чужих жизней. Он не говорил этого вслух. Говорить об этом вслух было некому.

Начальница отдела, Нина Петровна, женщина шестидесяти лет с лицом человека, который сорок лет назад потерял всякое удивление и с тех пор только обслуживал потерю, выдавала ему дела с утра. Она не смотрела на него. Она вообще почти ни на кого не смотрела — ей хватало глаз на стеллажи. Костя подозревал, что если бы однажды он не пришёл на работу, она заметила бы это только через неделю, когда на столе накопилась бы стопка дел, которую некому разобрать.

Он приходил. Каждый день. Потому что не приходило было страшнее.

Костя не мог бы объяснить, чего именно он боялся. Работа не была трудной — трудной её делала только скука. Денег хватало на комнату, на метро и на то, чтобы раз в месяц пригласить кого-нибудь поужинать; «кого-нибудь» уже полтора года было одним и тем же молчанием в телефоне, которое он почему-то не удалял. У него не было ни врагов, ни долгов, ни амбиций. Был только этот страх — глухой, ежедневный, без лица. Страх, что однажды он перестанет приходить, и это никого не изменит. Что его отсутствие окажется таким же незаметным, как его присутствие.

Наверное, поэтому он и держался за работу. Не из любви к бумагам — из страха перед собственным исчезновением. В архиве он был хотя бы строчкой в таблице. Строчка — это уже что-то. От строчки отталкиваются.

— Кофе будет? — спросил он у Нины Петровны, когда она в девятом часу прошла мимо его стола с чайником в руках. Вопрос был ритуальный. Чайник в отделе был один, общий, и Костя знал, что ответит Нина Петровна, потому что она отвечала одно и то же уже пять лет.

— С утра нельзя, — ответила Нина Петровна, не оборачиваясь. — Потом.

«Потом» у неё означало «никогда». Костя заварил чай из термоса.

День был как все. Утро: ключ в дверь, свет через одну лампу из трёх, чай, который он приносил из дома в термосе, потому что институтский чайник отключали в целях экономии.

Полдень: коробки, папки, акты о списании, служебные записки с печатями, которые никто уже не помнил зачем ставил. Костя работал, как работают все люди на его месте: наполовину. Руки делали своё, глаза скользили по строчкам, а голова была в другом месте — в каком, он и сам не знал. У него не было ни девушки, ни планов, ни даже хобби, о котором можно было бы сказать с гордостью. Был только поток бумаги и ощущение, что он ждёт чего-то, хотя не имел ни малейшего понятия, чего.

Большинство дел были однообразными. Костя почти не смотрел на содержимое — двадцать четыре года, пятый разряд, глаза на часы. Начальник отделом был убеждён, что у молодых сотрудников должен гореть энтузиазм. У Кости энтузиазм не горел. Он тлел ровно настолько, чтобы хватало на восемь часов в день и на обратную дорогу домой.

Перед обедом ему попала папка, которую Нина Петровна сунула ему без слова — просто протянула поверх стойки, как протягивают то, что нужно вынести на помойку. Папка была старая, картонная, с выцветшим корешком и характерным запахом: пыль, клей, время. На обложке — надпись, выведенная чернилами, которые выцвели до светло-коричневого: «БЕЛОВА М. А., отд. 12, физика».

Внутри было почти ничего. Несколько приказов о переводе с одного места на другое, подписанных разными людьми в разное время. Пара характеристик, написанных в той канцелярской манере, которая ровно ничего не говорит о человеке, кроме того, что он вовремя приходил на работу и не скандалил. И одно письмо. Письмо не было запечатано.

Костя чуть было не отложил его вместе с остальными бумагами — в стопку на утиль, не глядя. Так он делал с девяносто девятью делами из ста. Но что-то его остановило. Может быть, то, что в деле физика, который переводили туда-сюда и не оставили ни одного личного документа, лежало письмо. Личные письма не подшивают к служебным делам. Люди, которые подшивают бумаги, слишком хорошо знают, что личное — это то, что не должно попасть в опись.

Костя повертел папку в руках. За пять лет он научился читать людей по их делам: у аккуратных — аккуратные папки, у тех, кого любили, — хотя бы одна фотография, у тех, кого переводили с места на место, — штампы, повторяющиеся, как плохая музыка. У Беловой М. А. не было ничего из этого. Четыре перевода, две характеристики, написанные в той канцелярской манере, которая стирает человека до подписи, и письмо, которого здесь не должно было быть. Человек, которого переводили четырежды и о котором не осталось ни одного личного следа, — либо ничего не значил, либо значил так много, что из него заранее вынули всё лишнее.

Костя знал, что думать так непрофессионально. Архивист не должен сочинять судьбы. Его дело — опись, подпись, шкаф, утиль. Но он уже сочинил — и отделаться от этой Беловой не мог, потому что она, не сказав ни слова, задала ему вопрос, на который не было ответа: почему в её деле лежит письмо, которое не относится к делу? В архиве всё лежит где положено. Если что-то лежит не там — значит, кто-то положил. А если кто-то положил — значит, это кому-то было нужно.

Он развернул лист.

Бумага была жёлтая, ломкая, с неровным краем — кто-то когда-то оторвал её от чего-то большего. На листе стояли четыре строки. Две верхние — от руки, чернилами, аккуратным почерком человека, который писал редко и старательно. Две нижние — большими печатными буквами, словно их выводили, давя на бумагу, как будто их писали на корабле, когда качает, или в поезде, который стучит на стыках.

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПАСТИ МИР. МЫ УЖЕ ПЫТАЛИСЬ.»

Внизу — подпись. А. Воронцов.

Костя повертел лист. К подшивке он не относился — в деле Беловой было только письмо, без конверта, без обращения, без даты. Просто лист. Он не был ни актом, ни приказом, ни

справкой. Он не был ничем из того, что должно лежать в личном деле физика из двенадцатого отдела. На обороте ничего.

Костя посмотрел на подпись. Размашистое «В» — буква, которую человек выводит всю жизнь и так и не может исправить. Петля «о», сползающая вниз. Такие подписи не подделывают. Такие подписи просто есть у людей — как тембр голоса, как привычка не смотреть в глаза, когда говоришь правду.

Он занёс лист в реестр, как полагалось: «Письмо без описи, дело № 0411/49», — и положил было в стопку на утиль. Но что-то задержало его. Не текст — текст был коротким и непонятным. Задержала форма. В архиве Костя повидал тысячи писем: просительные, благодарственные, угрожающие, прощальные. Все они начинались с обращения, с даты, с обстоятельств. Это письмо не начиналось ни с чего. Оно начиналось сразу с приказа. Или с прощания.

Он перечитал четыре строки ещё раз. Потом ещё раз, медленнее, так, как читают надписи на чужих могилах — не для того чтобы понять, а для того чтобы запомнить.

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПАСТИ МИР. МЫ УЖЕ ПЫТАЛИСЬ.»

Зачем писать такое? Кому? В деле лежало письмо, которое нельзя было никому адресовать — и нельзя было не адресовать. Оно было написано для того, чтобы его нашли. В этом Костя был уверен так же, как был уверен в том, что через час он уйдёт на обед и будет есть невкусное в институтской столовой. Письмо было оставлено. Оставлено нарочно. Вопрос был только — кем и зачем.

Он положил лист обратно в папку. Потом вынул. Потом снова положил. В конце концов он оставил его на столе, краем к краю стола, как оставляют на виду то, что ещё не решили, куда положить.

Костя заглянул в реестр сотрудников института. Он делал это из чистого любопытства — подписи на документах иногда ведут к старым сотрудникам, которых стоит упомянуть в описи. Вавилов, Винокуров, Власов, Воронцов — ничего. Он проверил дважды, нажимая на клавиши сильнее, чем нужно. Воронцовых в институте не было. Ни в сорок девятом, ни позже.

Странно. Хотя... в конце сороковых там что-то было. Костя нахмурился, пытаясь ухватить воспоминание — что-то про какой-то отдел, про «временную лабораторию», про людей, которые приходили с пропусками особого образца. Он потянулся за этим воспоминанием, как тянутся за ниткой, которая торчит из клубка, — и нитка оборвалась. В его голове была гладкая, аккуратная пустота, как в этих залах. Пустота без швов. Пустота, которую невозможно потрогать, потому что она не оставила на себе ничего.

Он закрыл реестр и посидел минуту, глядя в потухший экран. С ним случалось такое и раньше — натыкаешься на упоминание, которого нет, на фамилию, которая «не значится», и на секунду чувствуешь, как под ногами гуляет пол. Он списывал это на дырявую память и на усталость. Теперь усталость была ни при чём. Он не мог вспомнить не потому, что забыл, — а потому что вспоминать было нечего. Гладко. Чисто. Как будто кто-то очень аккуратно вынул из института всё, что связано с временной лабораторией, и замазал дыру так хорошо, что и шва не осталось.

Костя не был суеверным. Он верил в описи, в инвентарные номера и в то, что у каждой бумаги есть место. Отсутствие места его не пугало. Пугало отсутствие следа. В его работе бывает наоборот: что-то стораёт, теряется, размокает — и остаётся хотя бы перекрёстная ссылка, хотя бы пометка «утрачено», хотя бы дыра в реестре. Дыра — это тоже документ. Здесь дыры не было. Был ровный, отглаженный порядок, из которого что-то вынули, как вынимают страницу из книги, — и подшили так, что книга не стала тоньше.

Он выключил сканер и вышел на обед.

Обед был как все: столовая пахла варёной капустой, за соседним столом два сотрудника спорили о футболе, а Костя смотрел в окно на серое небо и думал о письме. Он думал о нём весь день, против своей воли, как думают о занозе, которую не можешь вытащить. Четыре строки.

Одна подпись. Ни даты, ни адресата. Письмо человека, которого никогда не существовало, в деле женщины, о которой не сохранилось ничего, кроме приказов о переводе.

Он попробовал представить, кто мог написать такие строки. Люди пишут письма, когда хотят что-то получить: деньги, прощение, ответ. Это письмо не хотело ничего — оно хотело остановить. Оно было написано человеком, который больше не надеялся, что его послушают, но всё равно писал, потому что молчать было нельзя. Костя знал этот тип людей — в архиве их дела лежали отдельной стопкой. Это были люди, которые при жизни считались чудаками, а после смерти превращались в папки с пометкой «личное». Их письма не отправляли адресатам. Их письма подшивали.

Но это письмо подшито не было. Оно лежало в деле физика, который переводился туда-сюда и не оставил ни одного личного документа, — как иголка, зашитая в подкладку. Костя всё думал: кто зашил? Белова? Воронцов? Или кто-то третий, кто знал, что письмо должно дожидаться?

Он так и не решил. Он только понял, что теперь будет думать об этом долго. Дольше, чем обо всём, что видел в этом институте.

Он вернулся в зал после обеда, подошёл к своему столу и обнаружил, что письмо лежит там же, где он его оставил. Он не знал, чего ожидал — что оно исчезнет? Что оно окажется сном? Письмо лежало. Письмо не собиралось никуда исчезать. Письмо вообще, кажется, не собиралось делать ничего, кроме одного: ждать.

Костя вложил его обратно в папку, закрыл папку, поставил на стеллаж и забыл о нём — насколько можно забыть о том, что не выходит из головы.

Он не забыл. Он пытался, но не забыл.

Всю неделю письмо возвращалось к нему в самые неожиданные моменты: когда он чистил зубы, когда стоял в очереди за хлебом, когда смотрел, как за окном метро проплывают чужие окна. Четыре строки всплывали ни с того ни с сего, как обрывки чужого сна. «Не пытайтесь спасти мир. Мы уже пытались». Смешно было то, что текст этот не имел к нему отношения. Костя не собирался спасать мир. Костя собирался дожить до пенсии и, может быть, один раз съездить к морю. И всё же строки цеплялись, как репей, и каждый раз, когда он думал о них, у него было ощущение, что письмо адресовано не «никому», а кому-то конкретному. Ему, например.

Он пробовал не думать. Пробовал думать о другом. Ничего не помогало, и Костя — человек, который пять лет назад перестал удивляться чему-либо, — поймал себя на том, что ждёт. Чего — он не знал. Но ждал.

Поэтому, когда через неделю на дне коробки с электронными носителями он увидел серый куб, он сначала не понял, почему сердце стучит быстрее.

Через неделю, разбирая коробку с электронными носителями, Костя нашёл второй след.

Коробка пришла из того же корпуса, из комнаты, которую когда-то занимала Белова. Носители — старые, допотопные, формата, который не читала ни одна машина в отделе, кроме одной. Костя перебирал их один за другим, сверяя с описью, которая расходилась с содержанием на треть, как всегда. И на дне коробки, под слоем шнуров и сломанных накопителей, лежал маленький серый куб.

Куб был без маркировки. Небольшой, размером с кулак, матовый, холодный. Он не был похож ни на один носитель, который Костя видел в своей жизни, а за пять лет работы он видел их много. Куб не читался ни одним устройством в отделе — Костя попробовал четыре, прежде чем сдаться. Он был гладкий, без разъёмов, без кнопок, без единой трещины. Похожий на вещь, которую сделали не для того, чтобы её открывали, а для того, чтобы она лежала.

Костя положил куб на ладонь. Он был холодным — холоднее, чем воздух в зале, хотя в зале и так было прохладно. Тёплым он не становился даже в руке, как будто тепло его не касалось. Костя перевернул его, посмотрел на стыки — стыков не было. Куб был сделан цели-

ком, из одного куска, и Костя, который за пять лет разобрал и собрал, наверное, всё, что умеет ломаться и чиниться, не смог найти на нём ни одной линии, за которую можно было бы зацепиться. Ни крышки, ни шва, ни даже царапины от инструмента. Создавалось впечатление, что этот предмет не изготавливали — он как будто всегда был такой, от начала, и никто его не делал.

Он попробовал прочитать его четырьмя устройствами. Первое замигало красным. Второе не определило формат. Третье спросило пароль, которого у Кости не было и который он, признаться, даже не стал подбирать. Четвёртое — старое, из тех, что уже никто не обслуживает, — молчало, как рыба, и Костя потратил на него полчаса, перебирая переходники, прежде чем сдаться.

Куб не читался. Но Костя вдруг поймал себя на том, что ему и не нужно, чтобы он читался. Ему нужно было, чтобы куб был. Сам факт. Как будто в руки ему попала вещь, которая обязана существовать, — и он это чувствовал кожей, ещё до того, как увидел дату на грани.

Костя почти выбросил его. Он держал его в ладони, глядя на матовую поверхность, и думал: мусор, барахло, очередной артефакт умирающего института, который не влез в опись. Он уже занёс руку над мусорным контейнером — и на последней грани, там, где краска стёрлась от прикосновений, различил выдавленные цифры.

17.10.2049.

Тот же день, что на письме.

Костя замер с кубом в руке. Он не мог объяснить, почему эти цифры ударили его так, как не ударила бы никакая другая дата. Он видел тысячи дат. Даты были его работой. Но эта дата — семнадцатое октября сорок девятого года — лежала в нём, оказывается, не выходя на поверхность, с той самой минуты, как он прочитал письмо. Она легла туда сама, без спроса. И теперь она была здесь, выдавленная на кубе, который не читался ни одним устройством.

В обед, вопреки инструкции, он сунул куб в старый накопитель — единственное устройство, которое читало неизвестные форматы. Накопитель стоял в дальнем углу зала, покрытый пылью, потому что им пользовались раз в год, когда попадался носитель, который не читался ничем другим. Костя включил его, положил куб в гнездо, которое подошло с пугающей точностью, — как будто куб и накопитель были сделаны друг для друга, — и вставил наушники.

Он не надел их. Он сам не знал почему. Просто вместо того чтобы вставить наушники, он оставил их лежать на столе и поднёс куб к уху, как подносят раковину, чтобы услышать море. Динамик — единственный, встроенный в корпус, — зашёлся шипением, потом чихнул.

И из тишины — голос.

Низкий, усталый, немного хриплый. Мужской. Голос человека, который очень долго нёс что-то тяжёлое и только что поставил это на пол, чтобы сказать последние слова, прежде чем уйти.

— Не запускайте установку.

Пауза. Шипение.

— Это не предупреждение. Это запись. Мы уже пробовали по-другому. Если вы слышите это — значит, у вас ещё есть выбор. Прочитайте лист. Дальше — сами.

Костя сидел, не дыша, глядя на куб. Голос был спокойный. Не умоляющий, не грозный. Усталый — и от этого почему-то страшнее. Люди, которые угрожают, хотят чего-то. Люди, которые устали, уже ни на что не надеются. Они просто говорят то, что должны сказать, потому что обещали себе.

Надпись на коробке, накопитель, голос — всё сходилось к одному дню. К одному имени. К письму, которого никто не писал.

— Воронцов, — сказал он вслух. — Кто вы такой?

Динамик молчал.

Костя выключил накопитель. Он сидел в полутьме зала, с кубом в руке, и в голове у него шумело. Он пытался собрать мысли, но они рассыпались, как рассыпаются карты, которые кто-то перетасовал слишком усердно. «Не запускайте установку». «Мы уже пробовали по-другому». «Прочитайте лист. Дальше — сами».

Костя надел наушники и переслушал запись. Она шла с начала, та же самая, до последнего слова — до «Дальше — сами». Потом он переслушал её в третий раз, медленнее, пытаясь уловить что-нибудь на фоне: шаги, дыхание, шум. На фоне было только шипение — ровное, белое, без единого вкрапления. Запись была сделана в тишине, какой не бывает в настоящих помещениях, — в той стерильной тишине, которую не пишут, а собирают.

Он выключил накопитель, чтобы сэкономить лампу, и тут же снова включил. Руки не слушались его — они хотели слышать ещё раз. Куб в гнезде лежал так, как лежит вещь, которой всё равно. Костя нажал «проиграть».

Куб молчал.

Он проверил накопитель — тот работал. Проверил гнездо, вынул куб, вставил обратно, нажал ещё раз. Куб молчал. Запись исчезла, как исчезает сон, который ты только что видел и не можешь пересказать, потому что не осталось ни одной зацепки.

Костя сидел в полутьме, глядя на куб, и впервые за пять лет почувствовал, что его работа — не только закапывание чужих жизней. Иногда из-под лопаты что-то выкапывают. И иногда это что-то оказывается тяжёлым.

Он не знал, что значит ни одно из этих слов. Он не знал, какая установка, почему её не нужно запускать, кто «мы» и что они пробовали. Но он знал — с той же уверенностью, с какой знал, что вечером пойдёт домой и будет лежать без сна, глядя в потолок, — что эти слова обращены к нему. К тому, кто придёт после. К тому, кто найдёт письмо и куб и не поймёт ни слова.

К тому, кто ещё может выбрать.

За окном, за мутным стеклом, пошёл дождь. Костя посмотрел на него и подумал: «Странно». Он не знал почему. Просто почувствовал, что облако, висевшее над институтом, должно было свернуть в сторону, а не свернуло. Ощущение было коротким и глупым, как шов на ткани мира, который затянулся сам, без чьей-либо руки. Оно пришло — и ушло, не оставив следа, кроме смутного осадка, который невозможно ни описать, ни выбросить.

Костя выключил накопитель. Потом снова включил.

Куб был пуст.

Он сидел в зале, глядя на матовый серый куб, который только что говорил с ним голосом человека, которого никогда не существовало. Письмо в деле женщины, которой не сохранилось ничего. Даты, выдавленные на грани. Слова, обращённые к тому, кто придёт после.

Костя положил куб в карман. Он не знал, зачем. Он знал только, что выбросить его не сможет. Как не сможет выбросить из головы четыре строки на пожелтевшем листе и голос, который сказал: «Дальше — сами».

Домой он поехал, как всегда, на последнем автобусе, но в этот раз не смотрел в окно, а держал куб в кармане и время от времени трогал его, как трогают талисман, в который не веришь, но который греет. В комнате было тихо и пахло чужими стенами — съёмное жильё пахнет всегда чужо, сколько его ни проветривай. Костя положил куб на тумбочку у кровати, рядом с будильником, и долго стоял, глядя на него.

Он мог бы отнести его обратно. Мог бы вложить в опись, приписать какой-нибудь инвентарный номер, поставить на полку и забыть — как делал всегда. Это был бы правильный поступок. Правильный и безопасный. Костя перебирал этот вариант, как перебирают монету в кармане, и всё время натывался на одно и то же: на голос, который сказал «Дальше — сами».

Он понимал теперь, почему не мог выбросить куб. Не из любопытства — любопытство было его слабым местом, но здесь было что-то другое. Голос не просил о помощи. Голос не

предупреждал об опасности. Голос просто сказал правду — ту, которая была нужна кому-то, кто придёт после. И Костя вдруг со всей ясностью, как будто ему шепнули это на ухо, понял: он и есть «после».

Он не знал, что с этим делать. Он не знал, что ему за это будет. Он знал только одно: что завтра утром он снова придёт в архив, откроет шкаф четырнадцать и достанет дело № 0411/49. Потому что письмо, которое он вложил в папку, оказалось обращённым к нему. И потому что он, Костя Перекрёстов, двадцать четыре года, архивист пятого разряда, человек, который пять лет ненавидел свою работу, — вдруг впервые за пять лет захотел узнать, что будет дальше.

Он ещё не знал, что это значит. Он ещё не знал, что слова, обращённые к нему, — последний след чего-то огромного, что свернулось до размеров листа и куба. Он ещё не знал, что ему предстоит решить, что делать с этим — и что «дальше — сами» обращено не к нему одному.

За окном шёл дождь. Обычный, осенний, серый. Костя смотрел на него и впервые за долгое время не думал о часах.

ЗАПИСЬ 1

Нулевая секунда

17 октября 2049 года, 23:41. Лаборатория 7, НИИ темпоральных систем.

Оператор: Воронцов А.

Начата по собственному решению. Согласование не получено.

Лаборатория пахла озоном и остывшим железом. Три года назад Воронцов не чувствовал этого запаха. Теперь он различал его с порога, как различают по голосу близких: не потому что вслушиваешься, а потому что не можешь не слышать. В этом запахе было всё, что он любил и чего боялся в своей работе, — электричество, которое ещё не успело остыть, металл, который помнит прикосновение рук, и что-то ещё, чему он не находил названия. Что-то, что пахло возможностью.

Он мог бы рассказать о четырёх годах, которые ушли на то, чтобы довести эти два обода до состояния, в котором они хотя бы не мешали друг другу. О ночах, когда он оставался один, потому что только ночью зал был свободен, и перечитывал расчёты, которые сам себе же и опровергал, потому что они были единственными, что у него было. О том, как он спорил с заводами, которые не хотели делать керамические вставки, потому что «такого не существует», и как в конце концов сделал их сам, в мастерской, на станке, который достался институту ещё от кого-то, кто строил что-то невозможное до него. Четыре года — это не срок. Четыре года — это количество попыток, которые не считаются неудачей, пока ты жив.

Кольца «Хроноса» стояли в центре зала — два металлических обода, один внутри другого, по семь метров в диаметре. Воронцов всегда считал, что машина времени обязана выглядеть внушительнее. Шар. Воронка. Дверь. Что угодно, только не два обруча, поставленные один в другой, как кольца, которые развели. Этот символизм он заметил только сейчас, ночью, когда зал освещал один-единственный красный индикатор. Он стоял перед машиной, которую строил четыре года, и думал о том, что всё в его жизни последнее время почему-то напоминает кольца, которые развели. Два года прошло с тех пор, как они с Мариной развелись. Два года, а он до сих пор ловил себя на том, что ищет её глазами в коридорах института, как ищут слово, которое вертится на языке.

Днём здесь работали прожекторы, дышали кондиционеры, кто-то всегда звонил, кто-то пил чай у дальнего окна. Сегодня в зале не горел даже дежурный свет. Отключили всё, кроме аварийного контура, — и красный огонёк пульсировал на стене, как сердце, которому запретили останавливаться.

Комиссия вынесла вердикт три недели назад. Шестьдесят страниц, из них двенадцать — диаграммы, которых не было в исходном проекте, и двадцать — приложения с расчётами, которые Воронцов не подавал. «Отсутствие теоретических предпосылок», «неподтверждаемость расчётной модели», «экономическая нецелесообразность». Последняя формулировка была самой короткой и самой честной. На следующий день в институт пришёл человек из министерства и спросил, можно ли вывезти оборудование до конца месяца.

Воронцов запомнил этого человека. Он был молодой, в безупречно отутюженном костюме, с папкой, в которой было слишком много страниц для одного вопроса. Он улыбался той профессиональной улыбкой, которая не имеет отношения к радости, и говорил так, будто цитировал отчёт, который выучил наизусть.

Разговор состоялся в кабинете директора, за длинным столом, на который человек из министерства разложил свои бумаги веером — красиво, как раскладывают карты. Воронцов помнил этот жест: бумаги были не нужны, они были реквизитом. Человек говорил о «перспек-

тивах направления», о «перераспределении ресурсов», о «временных трудностях, которые не должны никого останавливать». Воронцов слушал и вежливо кивал. Он научился этому за годы работы: кивать, когда тебя хоронят, и не спорить, потому что спорить с человеком, который пришёл с готовым решением, — всё равно что спорить с приговором.

— Понимаете, — сказал человек под конец, сворачивая веер бумаг в аккуратную стопку, — невозможно вкладывать в то, что не работает. У вас уважительная биография, Алексей Анатольевич. Продолжайте писать статьи. Наследники невозможных проектов обычно пишут осторожно.

Воронцов тогда вежливо улыбнулся в ответ и подумал, что человеку, который пришёл хоронить чужую мечту, не обязательно знать, что мечта ещё дышит.

— Вы правы, — сказал он. — Наследники пишут осторожно.

Человек посмотрел на него — коротко, профессионально, — и в этом взгляде Воронцов увидел всё, что нужно было увидеть: ему не верили ни на секунду, но возражать было некому. Дверь закрылась, бумаги уехали, и Воронцов остался один в кабинете, с чертежом в портфеле и с ощущением, что разговор был выигран тем, кто умеет сворачивать бумаги веером.

Он вернулся к себе, где до самого вечера сидел, не включая света, и смотрел на чертёж, который носил с собой четыре года. Чертёж был старый, замусоленный по сгибам, с пометкой на полях, сделанной карандашом, — «проверить фазу 3». Фазу 3 он так и не проверил. Потому что комиссия запретила ему даже включить установку на холостом ходу.

Он, впрочем, не был ни дураком, ни героем. Он был человеком, который четыре года строил то, что по теории не могло работать, — и вот ему сказали, что он был прав только в одном: это не работает. Именно потому, что не должно работать, его и не пускали в лабораторию. Идея, которая не обязана работать, — опасная идея. Её проверяют не тогда, когда она готова, а тогда, когда её никто не ждёт.

Последние три недели он готовился тайно. Это было несложно — институт и так уже наполовину умер, охрана ходила через коридор, а в лабораторию 7 давно никто не заглядывал, кроме уборщицы, которая появлялась по вторникам. Воронцов носил вещи по одной, в портфеле: запасные контакты, распечатки, кусок кабеля, который он перепаял дома на кухне, глядя, как на столе остывает ужин. Жена ушла, есть было некому. Он перепайвал кабель и думал о том, что будет, если он окажется прав, — и не мог представить. Если он окажется прав, мир станет другим. Если нет — никто не узнает, что он пробовал. Оба варианта устраивали его по-разному, и оба пугали.

Он мог бы остановиться. Честный человек — остановился бы: в конце концов, у него были статьи, имя, место в науке. Если бы он послушался комиссии, через год он был бы профессором, писал бы осторожные статьи и ни разу бы не узнал, что проиграл. Но он знал себя. Он знал, что в его голове есть место, куда он не может не заглядывать, — то самое место, где «невозможно» значило «ещё не сделано». Он перепробовал всё, чтобы не думать о машине: работал над чужими темами, ездил к морю, даже согласился пойти на семейный праздник к дальним родственникам. Ничто не помогало. Машина думала за него, даже когда он думал о другом.

Воронцов выключил аварийный контур, подождал, пока красный свет погаснет, и включил главное питание.

Он знал, что делает сейчас то, что нельзя, — и в этом «нельзя» был вкус, который он не пробовал уже много лет. В институте его знали как человека осторожного, корректного, того, кто вечно «перепроверяет». Марина однажды сказала, что он умеет так хорошо прятать свои решения, что кажется, будто он не принимает их вовсе. Сегодня он не прятал ничего. Сегодня он нарушал — тихо, но без всякой возможности отступить, — и от этого у него было странное, лёгкое чувство, которого он не ожидал. Он называл бы его свободой, если бы не боялся этого слова.

Машина ожива с гулким, низким стоном, похожим на то, как вздыхает здание, когда по нему проходит поезд метро. Озона стало больше. Воронцов обошёл кольца, проверяя по памяти каждое соединение, — вслепую, как делают то, что делали сотни раз. Медный обод. Керамические вставки. Магнитные блоки, собранные вручную, потому что на заводские у института не хватило денег. Самые важные машины мира почти всегда собраны на коленке: здесь подкрутили, там перепаяли, а по полу тянется провод, который нужно держать так, чтобы не задевать ногой.

Провод он отвязал и отложил в сторону.

Пальцы у него были холодные, но не дрожали. Он замечал это за собой: в самые важные минуты его руки были холоднее и спокойнее, чем в любые другие. Как будто тело знало, что нужно экономить силы на то, что будет дальше, и тратило их только на самое необходимое.

За годы работы он выучил эту лабораторию так, как выучивают чужой дом, в котором живёшь не по своей воле: знал, где скрипит пол, где провод проложен вдоль плинтуса (чтобы не задевать ногой), где на кольце Б, на той стороне, которую видно только из-за пульта, осталась вмятина — от удара тележки, которую несли слишком быстро в день, когда привозили магнитные блоки. Он знал, какая из четырёх ламп под потолком мигает, когда в корпусе падает напряжение, и что кондиционер в углу свистит на второй ноте, если за окном северный ветер. Знать такие вещи — значит любить. Воронцов не говорил этого вслух, но это была правда, и сейчас, ночью, когда он стоял перед машиной, которую никто, кроме него, не считал живой, он вдруг почувствовал, что прощается. С залом, с мигающей лампой, со свистом кондиционера, с четырьмя годами.

Дверь в наблюдательную комнату была открыта. В ней, через стекло, стояла Марина.

Она стояла так, как стояла всегда, когда не хотела, чтобы он видел её лицо: чуть вполоборота, руки в карманах лабораторного халата, светлые волосы собраны в хвост. В стекле отражался красный свет, и на мгновение Воронцову показалось, что у неё лицо усталого человека, который пришёл сюда не по доброй воле, а потому что не мог не прийти.

Он нажал кнопку интеркома.

— Ты не обязана здесь быть.

Марина не шевельнулась. Голос в динамике был сухим:

— А ты не обязан это делать.

Воронцов улыбнулся. Улыбка вышла кривой — он чувствовал это по напряжению скул. С Мариной у него всегда так: ни одно его движение не проходило впустую, она замечала всё, включая то, что он старался скрыть от самого себя.

— Мы же это обсуждали.

— Мы обсуждали сто раз. И сто раз ты собирался сделать это без меня. Поэтому я здесь. Чтобы кто-то видел.

— Видел что?

Марина посмотрела на него — теперь прямо, через стекло.

— Что ты сам это выбрал.

Воронцов не нашёл, что ответить. Между ними было восемь лет общей работы, три года брака, два года развода и одно непонятное, неразобранное чувство, которое не имело названия и не требовало его. Марина была единственным человеком в институте, кому он доверял по-настоящему. Именно поэтому она была единственным человеком, кому он не сказал правды о том, что собирается сделать сегодня ночью.

Она догадалась сама. Она всегда догадывалась сама — и, пожалуй, это было одной из причин, почему они развелись. Воронцову было нечего от неё скрывать, а он всю жизнь выстраивал вокруг себя пространство, в котором можно прятаться. Марина не умела уважать такие пространства. Она просто проходила сквозь них, как сквозь стекло, — и оставляла его одного с тем, чего он не сказал.

Он вернулся к пульту. Система загрузилась, и на основном экране побежал список параметров. Воронцов пробежал его глазами: все зелёные. Все, кроме одного, — температура кольца Б держалась на градус выше расчётной. Он смотрел на это число три минуты, прикидывая, станет ли это поводом остановиться.

Нет. Не станет. Он знал себя.

Он знал себя лучше, чем кто-либо другой, и это знание было одновременно его силой и его приговором. Он был человеком, который не может оставить вопрос без ответа. Именно поэтому он построил машину, которую невозможно построить. Именно поэтому он сейчас стоял здесь, ночью, вопреки комиссии, вопреки здравому смыслу, вопреки всему, что говорили ему четыре года. Он не мог не узнать. Это было не любопытство — это было что-то более глубокое, более тёмное, более сильное. Это было то, из чего он состоял.

— Запуск через десять секунд, — сказала система голосом, который синтезатор сделал спокойным и вежливым.

Воронцов выдохнул.

— Три.

Воздух в кольцах начал дрожать. Пылинки, висевшие в луче света, вдруг пошли вверх, как будто кто-то перевернул комнату.

— Два.

В этот момент зазвучал голос.

Он шёл из динамика, висевшего под потолком, — того самого, который Воронцов отключил от сети ещё год назад, когда динамик начал фонить на каждой второй переговорной сессии. Провода были сняты. Динамик был мёртв. И всё же голос звучал из него — низкий, хриплый, на полтона ниже, чем у Воронцова, и всё же несомненно его.

— Не запускай установку.

Воронцов замер. Рука замерла над кнопкой.

— Кто это?

Тишина. Гул охлаждения.

Потом голос снова — не громче, но отчётливее, как будто говорящий приблизился:

— Ты.

Воронцов медленно обернулся. В зале никого не было, кроме колец и него. Он посмотрел на Марину — та поднесла руку к губам. Она тоже слышала.

— Очень смешно, — сказал Воронцов. — Сейчас не время.

— Через тридцать восемь лет ты поймёшь, почему я не смеялся.

На вспомогательном экране, где обычно показывали телеметрию, вспыхнула строка:

17.10.2087 / 23:41

Та же дата. Тридцать восемь лет разницы.

Воронцов посмотрел на часы на запястье: 23:41. Семнадцатое октября, две тысячи сорок девятый.

— Как ты передал сообщение? — спросил он. Голос сел, и он кашлянул.

— Не передал.

— Тогда что это?

Пауза длилась секунду, две. Потом голос произнёс спокойно, без злорадства, почти с сожалением:

— Ты его ещё не отправил.

Экран погас.

Воронцов стоял, глядя на тёмный экран, и не мог пошевелиться. Внутри что-то перевернулось — холод, не физический, не тот, что бывает от сквозняка, а другой, глубокий, поднимающийся из-под рёбер. Он вдруг понял — не поверил, не предположил, а именно понял, как

понимают внезапно сложившуюся формулу, — что машина времени, если она существует, не переносит людей из будущего в прошлое.

Она позволяет будущему стать причиной собственного прошлого.

Это была не его мысль. Она просто пришла, готовая, как ответ, который он искал четыре года, — но сейчас этот ответ был не радостью, а приговором. Потому что если будущее может стать причиной прошлого, значит, всё, что он делал, — всё, что он будет делать, — уже было причиной чего-то. И он не знал, чего именно.

— Алексей, — голос Марины из динамика был резким. — Ты слышал?

— Слышал.

— Что это было?

Воронцов посмотрел на установку. Красный индикатор аварийного контура снова пульсировал — он не заметил, когда тот включился обратно. Возможно, пульсировал всё это время. Он вспомнил: «не запускай установку». Он мог остановиться. Никто бы не узнал. Он мог выключить питание, закрыть дверь, позвонить в охрану и сказать, что ничего не произошло.

Он посмотрел на Марину. За стеклом она подняла ладонь — тот жест, который он знал из их общей жизни: ладонь вверх, «не надо».

— Алексей, не надо.

— Я должен.

— Почему?

— Потому что если я остановлюсь сейчас, я никогда не узнаю, что это было.

— Это был твой голос из будущего. Он сказал не делать этого.

— Он сказал, — Воронцов усмехнулся, — что я его ещё не отправил. Значит, если я не сделаю — его не будет. Тогда кто говорил?

Марина помолчала.

— А если наоборот? Если он есть только потому, что ты сделаешь?

— Тогда то, что я сделаю, уже предопределено.

— И тебя это не пугает?

Воронцов перевёл взгляд с её лица на кольца. Пылинки всё ещё дрожали в воздухе, как натянутая струна. Он думал о том, что предопределённость — это, наверное, самая страшная вещь, которую он мог себе представить. Человек, который не выбирает, — не человек. Но была в этом и другая сторона: если всё предопределено, значит, можно не бояться ошибиться. Ошибка тоже предопределена.

— Пугает, — сказал он. — Но теперь мне ещё и интересно.

Он нажал пуск.

— Один.

Мир исчез.

Не погас свет, не выключилась аппаратура. Исчезло само ощущение времени — Воронцов потерял его так, как теряют равновесие: без звука, без толчка, на одну секунду. Ни до, ни после, ни сейчас. Только пустота, у которой не было длины.

Он не мог сказать потом, что «увидел» что-то в этой пустоте. Видеть было нечего — она была абсолютной, без цвета, без глубины, без стен. Но на мгновение, длиной в удар сердца, Воронцову показалось, что пустота на него смотрит. Не как существо — как зеркало смотрит на того, кто в него вошёл. Он был и в этой комнате, и вне её, и между ними не было ни метра, ни года. Было только одно на всю эту пустоту место — и оно было занято им.

А потом всё вернулось.

Он стоял, держась за край пульта, и не мог понять, сколько прошло. Ладони были мокрыми. В ушах звенело, как после громкого звука, хотя громкого звука не было.

На основном экране, где секунду назад шёл отсчёт, горело:

ЭКСПЕРИМЕНТ УСПЕШЕН.

Воронцов смотрел на эти два слова и ждал, когда они станут понятными. Они не становились. «Успешен» — в смысле чего? В смысле того, что кольца гудели? Что он не умер? Что небо не упало? Успех предполагал цель, а цели не было. Был только запуск — и вот, пожалуйста, надпись, которая обещала больше, чем он задумывал.

Он проверил свои руки. Пальцы были на месте. Часы на запястье — на месте, стрелка дрожала на 23:42. Прошла минута. Одна минута жизни, которую он помнил. Он коснулся лица, виска — волосы были на месте, тёмные, без седины. Он не знал, зачем проверял. Просто мир после такого не может не оставить метки, и Воронцов искал её, как ищут ушиб.

Дверь наблюдательной распахнулась. Марина вошла в зал быстро, почти бегом, и остановилась, не доходя двух шагов.

— Ты цел?

— Да.

— Что это было?

— Я не знаю.

Она посмотрела на него, потом — за его спину, и лицо у неё изменилось. Воронцов обернулся.

На металлическом столе у дальней стены, там, где вечером лежали его ключи и остывший стакан чая, лежал лист бумаги.

Стол был пуст, когда он вошёл. Он это помнил точно: положил ключи на край, стакан поставил рядом с пультом. На столе ничего не было.

Теперь там лежал лист. Старый. Пожелтевший. С неровным краем, как будто его оторвали от чего-то большего.

Марина подошла первой. Воронцов видел, как она взяла лист, как провела пальцем по краю, как перевернула. Потом подняла на него глаза — и в них было что-то, чего он не видел у неё никогда: не страх, не удивление. Что-то похожее на жалость.

— Ты знаешь, чей это почерк? — спросила она.

Воронцов взял лист.

На нём было четыре строки. Две верхние — от руки, аккуратным, старательным почерком человека, который пишет редко. Две нижние — печатными буквами, с нажимом, как будто их выводили на корабле, когда качает.

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПАСТИ МИР. МЫ УЖЕ ПЫТАЛИСЬ.»

Внизу — подпись.

А. Воронцов.

Воронцов узнал её сразу. Это был его почерк. Не похожий — его. С тем самым размашистым «В», которое он с детства так и не выправил, с петлёй «о», которая всегда сползала вниз. Он узнал бы этот почерк в любой темноте. Он писал им всю жизнь.

— Это не я, — сказал он. — Я этого не писал.

Марина молчала.

— Ты же видела, — сказал Воронцов. — На столе ничего не было. Я вошёл, поставил стакан, развязал провод. На столе было пусто.

— Я видела, — сказала Марина. — Я видела, что стол пустой, когда ты вошёл. Я видела тебя у пульта. Я видела, что произошло.

Она помолчала.

— И всё равно это твой почерк, Алексей.

Воронцов посмотрел на лист, потом на установку, потом снова на лист. Кольца стояли, тихо гудя, и в этом гуле ему слышалось то, что он никак не мог прогнать: голос из мёртвого динамика.

«Не запускай установку».

Слишком поздно. Или — по-другому — как раз вовремя.

В лаборатории было двадцать четыре градуса. Воронцов вдруг отчётливо, до дрожи, осознал, что ему холодно. Не потому что замёрз. А потому что впервые в жизни он испугался не того, что случится.

Он испугался того, что уже случилось.

Он посмотрел на Марину, потом снова на лист, потом на кольца. Внутри у него, под этим страхом, потихоньку поднималось другое чувство — то самое, которое он знал за собой и которое всегда его подводило: азарт. Он ненавидел в себе это. Учёный, который радуется, когда эксперимент ломает теорию, — плохой учёный, ему должно быть страшно. Но Воронцову не было страшно. Ему было интересно. Четыре года он строил машину, которая не могла работать, — и вот она работала. Работала так, как он не задумывал. И где-то в глубине, под слоем профессионального ужаса, в нём зажглась маленькая, торжествующая искра: «значит, я был прав. И значит, всё, что я думал, было не так. Это лучше».

Он взял лист в руки. Бумага была жёсткая, старая, с запахом пыли — запахом, которого не бывает у свежей бумаги. Этот лист лежал где-то долго. Тридцать восемь лет, подумал Воронцов, и сам испугался этой цифры. Он не знал, откуда она взялась. Просто встала перед глазами, как встаёт дата.

Марина подошла к нему. Она не стала ничего объяснять, не стала предлагать варианты. Она просто стояла рядом, глядя на лист в его руках, и Воронцов впервые за два года почувствовал, что между ними нет стекла. Не того, что в наблюдательной. Того, что они построили сами, — из несказанных слов и недоделанных разговоров.

— Ты ведь не остановишься, — сказала она не как вопрос.

Воронцов хотел ответить. Он открыл рот — и понял, что не знает, что ответить, потому что она была права. Машина работала. Голос из будущего предупредил его — и не остановил. Лист лежал у него в руках — и звал.

— Я должен понять, — сказал он наконец.

— Ты всегда говоришь «должен», когда хочешь.

Он посмотрел на неё. Она смотрела на него — без осуждения, без жалости. С той спокойной, твёрдой прямоотой, за которую он когда-то её и полюбил: Марина не отводила глаз, когда говорила правду, даже если правда была про него.

— Знаешь, — сказал он, — я ведь мог бы не запускать. Ты меня не выдала бы. Комиссия не узнала бы. Никто бы не узнал, что я провёл ночь в лаборатории.

— Но ты запустил.

— Я запустил. И теперь не знаю, что я запустил.

Она подошла и взяла его за руку — просто так, без слов, как брала когда-то, в другой жизни, когда они были вместе и всё было просто. Воронцов почувствовал, как тепло от её ладони поднимается по руке. Он не знал, что это: последний раз, когда они стояли рядом на одной стороне, или первый раз, когда им предстояло стоять по разные.

— Что теперь? — спросила она.

Воронцов посмотрел на лист. На четыре строки, которые он не писал. На подпись, которую поставил не он.

— Не знаю, — сказал он.

И это была самая честная вещь, которую он сказал за всю свою жизнь. Он стоял посреди лаборатории, которую создал, перед листом, который создал он сам и который он не создавал, и впервые не знал, что будет дальше. Не потому что не мог рассчитать. А потому что рассчитывать было нечего. Формула, которую он вывел, имела решение — но решение это было написано его собственной рукой, и он не помнил, как его выводил.

За окном, за оградой института, начинался дождь. Воронцов посмотрел на него и не заметил ничего странного. Пока не заметил.

Он не знал, что это была последняя ночь, когда дождь шёл правильно.

ЗАПИСЬ 2

Мелкие перемены

24 октября 2049 года. Институт темпоральных систем, корпус Б.

Оператор: Воронцов А. Запись продолжается по собственной воле.

Неделя прошла в тишине, которой Воронцов раньше не замечал.

Институт закрывали «по техническим причинам». Это была официальная формулировка, и она имела то преимущество, что была верна — просто неполна. Технические причины были: установка, которую нельзя включать, потому что она не может работать. Всё остальное — акты, подписи, описи — лишь бумага, которой прикрывают неполноту.

В коридоре корпуса Б стояли картонные коробки. В них ссыпали то, что решили не увозить: старые журналы учёта, пробирки, таблички с дверей. Кто-то уже снял табличку с лаборатории 7. Воронцов увидел на стене четыре следа от шурупов — светлое пятно в серой краске, как отпечаток чего-то, что здесь было и ушло.

Он стоял перед этим пятном дольше, чем следовало. Четыре дырки в стене. Он знал, что за ними была надпись, которую он читал каждое утро четыре года: «Лаборатория 7. Вход только для сотрудников». Табличку сняли, как снимают бинт с раны, которая уже затянулась, — а под ней оказалась незажившая кожа.

Демонтаж шёл странно. Воронцов не узнавал собственное рабочее место. Где стоял стол, теперь был пол; где висела доска с расчётами — теперь была стена, чистая, как будто её помыли. Люди в рабочих комбинезонах двигались быстро и молча, как будто их работа не имела отношения к тому, что они разбирают: они не смотрели на бумаги, которые выносили, не читали фамилии на папках. Бумаги были для них просто грузом, тяжёлым и однообразным. Воронцов поймал себя на том, что смотрит на них с почти враждебной нежностью — как смотрят на людей, которые несут твой чемодан и не знают, что в нём.

Он обошёл коробки, в которые ссыпали бумаги. На дне одной из них лежал его собственный ежедневник за сорок восьмой год — кожаный, потрёпанный, с пометкой на мартовской странице: «Марина. 14:00. Кафе». Воронцов вытащил его, постоял с ним в руках. Он не стал забирать. Он положил ежедневник обратно, как кладут на место вещь, которая уже стала чужой, и пошёл дальше по коридору.

В конце коридора, у окна, стояла лаборантка с первого этажа — та самая, что увозила герань. Она прижимала к груди картонный ящик с табличками, снятыми с дверей, и смотрела на Воронцова так, будто он был частью мебели, которую тоже собираются вынести.

— Вы последним уходите? — спросила она.

— Наверное.

— Я вас запомнила, — сказала она неожиданно. — Вы всегда здесь допоздна. А я думала, вы давно ушли вместе со всеми.

— Я и сам так думал.

Она кивнула, как будто это был нормальный ответ, и понесла ящик дальше, на лестницу. Воронцов смотрел ей вслед и думал о том, что это, возможно, последний разговор, который он ведёт в этом здании как с живым человеком. Через неделю они оба будут частью описи. Он — строчкой в акте о демонтаже. Она — табличками, которые кому-то пригодятся в другом здании.

— Сочувствую, — сказал человек из министерства, который пришёл проверить, как идёт демонтаж.

Воронцов обернулся. Тот самый человек, что приходил через день после вердикта. В безупречно отутюженном костюме, с папкой, в которой Воронцову показалось слишком много страниц. Воронцов запомнил его фамилию из вежливого разговора: Ростовцев. Фёдор Ильич Ростовцев, куратор направления. Человек, который говорил о науке так, как говорят о бюджете: уважительно и осторожно, как о дорогой вещи, которая стоит дороже, чем приносит.

— У ваших преемников будет меньше соблазнов, — продолжал Ростовцев, улыбаясь. — Наследники невозможных проектов обычно пишут осторожно.

Воронцов вежливо улыбнулся в ответ и не сказал ни слова о том, что произошло в ночь на семнадцатое.

Он умел молчать. Это было его главное умение, выкованное годами работы, в которой нельзя говорить о результатах до тех пор, пока они не проверены, а проверены они не бывают никогда. Он смотрел, как Ростовцев проходит по коридору, заглядывает в коробки, сверяет что-то с папкой, и думал о том, что этот человек — не враг. Он даже не невежда. Он просто человек, который привык, что вселенная делится на «экономически целесообразное» и «нецелесообразное», и для которого машина, которую Воронцов построил, была просто статьёй расхода.

— Вы надолго в город? — спросил Ростовцев, останавливаясь напротив него.

— До конца месяца, — сказал Воронцов. — Потом, наверное, возьму отпуск.

— Отпуск — это хорошо, — Ростовцев кивнул, как кивают, одобряя что-то, что не требует одобрения. — Отдохнёте. А то у вас лицо человека, который четыре года не высыпался.

Воронцов чуть не рассмеялся. Четыре года не высыпался — это была лучшая формулировка всей его жизни, и она принадлежала человеку, который пришёл её хоронить. Он удержался.

— Не высыпался, — согласился он. — Была работа.

— Была, — повторил Ростовцев с ударением на прошедшем времени. — Теперь будет отдых. Правильно.

Он протянул Воронцову визитную карточку — белую, плотную, с одной строчкой и телефоном. Воронцов взял её, не глядя, и положил в карман, к фотографии и листку с номером Марины. Три карточки из разных жизней в одном кармане. Он подумал об этом только вечером, и мысль эта была неприятной — как будто он собирает колоду, которую кто-то уже раздал.

— Если что-то из оборудования окажется в рабочем состоянии, — сказал Ростовцев, останавливаясь у двери лаборатории 7, — дайте знать. Составим акт, передадим на баланс. Вдруг пригодится.

— Вряд ли пригодится, — сказал Воронцов.

Ростовцев посмотрел на него — коротко, профессионально, как смотрят на человека, от которого ждут формального ответа. Потом кивнул и ушёл, оставив в коридоре запах одеколона и ощущение, что разговор был закончен ещё до того, как начался.

Первая мелочь случилась во вторник.

Марина зашла к нему в кабинет — она заходила каждый день после обеда, молча садилась в кресло у окна и читала с планшета, будто ей здесь нужен был его стол, а не он. Воронцов не спрашивал, зачем она приходит. Он тоже умел принимать молчание.

Во вторник она, не поднимая глаз от планшета, сказала:

— А помнишь, как мы ездили к морю? В сорок шестом.

Воронцов поднял голову.

— К морю мы ездили в сорок шестом. Июль. Городок на южном берегу, красная гостиница с покосившимся ставнем, номер на третьем этаже. Ты всё утро злилась, что окно не закрывается, а к вечеру в окно влетела чайка. Ты сказала, что это дурной знак. А утром ты забыла на пляже фотоаппарат, и мальчишка снял его с лежака и убежал, и мы гонялись за ним по набережной, и ты смеялась так, что я впервые подумал, что...

Он замолчал.

Марина смотрела на него, и в её глазах было что-то странное — не воспоминание, а его отсутствие. Она смотрела на него так, как смотрят на человека, который говорит на языке, которого ты не знаешь.

— В сорок шестом, — сказала она медленно, — мы никуда не ездили. У твоего отца была операция, и мы весь июль просидели в городе. К морю мы поехали в сорок восьмом.

Воронцов открыл было рот. Закрыв.

— В сорок восьмом мы уже развелись.

Марина нахмурилась.

— В сорок восьмом мы ещё были женаты.

Они посмотрели друг на друга. В кабинете было тихо — так тихо, что Воронцов услышал, как за стеной шуршит бумага, которую кто-то упаковывает в коробку.

— Мы развелись в сорок седьмом, — сказала Марина.

— В сорок седьмом, — повторил Воронцов. — Да.

Он не стал спорить. Он вдруг понял, что не хочет спорить, — что-то подсказало ему, что из спора о датах он выйдет или сумасшедшим, или убийцей их общего прошлого. Но в голове стояла совершенно ясная картинка: красная гостиница, покосившийся ставень, чайка в окне. Она была не придуманной. Она была пережитой. Он помнил, как пахло в той комнате — солью, деревом и чем-то ещё, что не имело названия. Он помнил, как она смеялась на набережной. Это было слишком живо, чтобы быть ложью. И слишком живо, чтобы быть правдой.

Всю ночь он не мог уснуть и в темноте проверял себя, как проверяют языком, целы ли зубы: сорок пятый — стажировка; сорок шестой — море, красная гостиница; сорок седьмой — развод; сорок восьмой — она ушла из института, потом вернулась, потому что не смогла уйти; сорок девятый — сейчас.

Он проверял и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье — в перерывах между демонтажом, за обедом, по дороге домой. И чем больше он проверял, тем яснее видел одно: его память была цельной, как книга, в которой читаешь слева направо и не сомневаешься в номерах страниц. А мир вокруг был книгой, в которой кто-то переплел страницы заново, не потрудившись сменить нумерацию. Он один читал обе.

По вечерам он шёл домой пешком — не потому что было близко, а потому что в дороге легче думать. И в эти вечера он начал замечать, как мелко, по-домашнему не сходится город. У аптеки, которая всегда была на углу Пятигорской, теперь стояла пекарня — не новая, а с вывеской, выцветшей за годы, будто она стояла тут всегда. Женщина с собачкой, которую он видел по утрам, теперь гуляла по другой стороне, и собачка была другая, хотя он помнил ту, пёструю. В трамвае кондуктор объявлял остановку, которой Воронцов не помнил, — и никто в вагоне не удивлялся.

Он не знал, что со всем этим делать. Он пробовал записывать, но записи сами начинали выглядеть бредом: «Пекарня на углу. Была аптека? Был ли я вообще на этом углу?» Он рвал записи. Он не хотел фиксировать безумие — он хотел, чтобы оно прошло. Оно не проходило. Оно просто переставало замечаться, как привыкают к гулу, — и только когда он отвлекался от своих мыслей, мелкие нестыковки снова царапали взгляд, как соринки.

Наутро он попытался вспомнить лицо Литвинова — и понял, что помнит его лучше, чем собственное. Профессор Литвинов, его научный руководитель, человек, который в своё время подписал допуск к «Хроносу» и который последние два года отчаянно, но беззлобно отбивал Воронцова от комиссий. Старик, который любил говорить: «Алексей, ты строишь машину, которую в твоём же дипломе называли невозможной. Это либо гениально, либо ты просто не умеешь переписывать диссертации». Воронцов не любил его. Он любил с ним спорить.

Он вспомнил их последний спор — тот самый, перед самой комиссией. Литвинов сидел в своём кабинете, заваленном книгами так, что стола почти не было видно, и смотрел на Воронцова из-под кустистых бровей.

Тогда, за месяц до комиссии, Литвинов ещё верил, что его можно отговорить. Воронцов помнил этот кабинет до последней детали: окно, выходящее на внутренний двор, где росла одна-единственная липа; подоконник, заставленный банками с растворами, про которые Литвинов забыл и которые никто не смел выбросить; на стене — фотография с конференции в Праге, где Литвинов стоял в первом ряду с перекошенным галстуком, и Воронцов почему-то всегда смотрел именно на галстук, а не на лица. Галстук был живым. На снимке ему было не до фотогеничности — он спорил с кем-то в момент съёмки, и это видно было даже на выцветшей бумаге.

— Ты понимаешь, что ты делаешь? — спросил Литвинов. — Ты строишь машину, которая отменяет причинность. А причинность — это всё, что у нас есть. Без неё нет ни физики, ни истории, ни морали.

— Причинность не отменяется, — сказал Воронцов. — Она переписывается.

— Переписывается кем?

— Будущим.

Литвинов долго смотрел на него. Потом снял очки, протёр их — и в этом жесте было столько усталости, что Воронцову стало неловко, будто он увидел чужую старость без спроса. Он знал, что Литвинову шестьдесят восемь, что он тридцать лет проработал на эту кафедру и что его собственная диссертация — о роли случайности в истории науки — была давно забыта и даже ему самому казалась чужой. Старик защищал не науку. Старик защищал представление о том, что в мире есть порядок, которого нельзя касаться руками.

— Если ты прав, — сказал Литвинов, — и будущее может переписать прошлое, то у нас нет ни одного доказательства, что мы вообще существуем. Что мы не чья-то поправка.

— Может быть.

— И это тебя не пугает?

Воронцов помолчал. Потом сказал то, что думал на самом деле:

— Меня пугает обратное. Что мы не поправка, а ошибка. И что никто не придёт нас исправлять.

Литвинов усмехнулся — той усмешкой, которой усмеваются люди, которые уже всё решили и больше не спорят.

— Знаешь, — сказал он, — я ведь тебя к себе на кафедру сам взял. Смотрю на тебя тогда, молодого, — а ты мне про «машину времени» говоришь. Я посмеялся. Подумал: молодой, перебесится, будет писать нормальные работы, как все. А ты не перебесился. Ты четыре года мне жизни съел, Алексей. И знаешь что? — он наклонился вперёд, и голос у него стал тише, почти доверительным. — Я, пожалуй, и сам хочу, чтобы ты оказался прав. Чтобы было за что переживать. Потому что когда ты прав — мир большой. А когда ошибаешься — мир маленький, и все мы в нём на своих местах.

— Тогда вы за меня?

— Я против того, что ты делаешь, — сказал Литвинов. — Но я за то, чтобы ты это сделал. Понимаешь разницу? Это моя работа — быть против. А твоя — делать, пока тебя не остановили. Только помни: если она заработает, первой её жертвой станет тот, кто поверит в неё сильнее всех.

Воронцов не понял тогда, что он имел в виду. Он понял это только сейчас, в среду, когда пошёл в архив и попросил личное дело Литвинова.

В архиве ему ответили, что такого сотрудника не было.

— Как не было? — не понял Воронцов. — Литвинов, Михаил Аронович. Кафедра прикладной физики. Заведующий до сорок девятого. Подписывал акты по лаборатории 7.

Архивистка — женщина лет пятидесяти с лицом человека, который тридцать лет не удивляется, — снова заглянула в реестр.

— Заведующим прикладной физики с сорок шестого был Королёв-Стрельцов. Даже фамилия-то двойная. До него — Осипенко. Литвиновых в реестре нет.

Воронцов стоял перед стойкой и молчал. Он знал, что заведующим кафедрой был Литвинов. Он подписывал у него допуски. Он ходил к нему в кабинет, где на стене висела фотография с конференции в Праге, где Литвинов стоял в первом ряду с перекошенным галстуком. Воронцов мог бы нарисовать этот галстук по памяти. Он мог бы нарисовать морщинки вокруг его глаз, ямку на подбородке, привычку пристукивать пальцем по столу, когда злился.

— Можно посмотреть журналы допусков? — спросил он. — За сорок шестой — сорок девятый.

— Журналы за сорок восьмой год не сохранились. Пожар в бухгалтерии.

— А за сорок седьмой?

— Передали в отраслевой архив. Что, — женщина подняла глаза, — важное?

Воронцов хотел ответить. Но не нашёл слов, которые не звучали бы безумно.

— Ничего, — сказал он. — Спасибо.

Он вернулся в лабораторию 7. Дверь была открыта, таблички уже не было. Внутри, в центре зала, стояли кольца «Хроноса» — их ещё не успели разобрать. Красный индикатор не горел. Воронцов подошёл к столу.

Стол был пуст. Ни ключей, ни стакана. Ни жёлтого листа, ни подписи.

Он постоял, глядя на пустоту, — и вдруг понял, что это место теперь для него как открытая рана: сюда нельзя смотреть, а не смотреть невозможно. Кольца стояли, холодные, тёмные, и Воронцову впервые за четыре года стало не по себе от того, что он их создал. Он всегда думал о них как о своём ребёнке. Теперь ему казалось, что ребёнок вырос и смотрит на него с того конца зала чужими глазами.

Воронцов открыл ящик.

Лист лежал там. Он сам положил его в ящик в ту ночь, сунул, не глядя, когда Марина вышла, — чтобы не смотреть на него, чтобы не видеть собственную подпись, которую он не ставил. Лист был на месте. Воронцов вытащил его, развернул, прочитал в четвёртый раз.

«НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПАСТИ МИР. МЫ УЖЕ ПЫТАЛИСЬ.»

Четыре строки. Одна подпись. Ни даты, ни адресата. Воронцов смотрел на них и думал о том, что в этом зале больше нет ни одного человека, который мог бы подтвердить, что в ночь на семнадцатое он был здесь один. Марина была. Но если бы он спросил её завтра — подтвердила бы ли она? Что-то подсказывало ему: нет.

В четверг он собрался с силами и пошёл в архив за фотографиями.

Альбомы института лежали в коробке, на которую уже наклеили бирку «К сдаче в утиль». Воронцов вытащил их, сел на пол в проходе между стеллажами и стал листать. Снимки были старые, отпечатанные на бумаге с жёлтой подложкой: конференции, лабораторные стенды, цех, где собирали первые кольца. Воронцов искал одно: фотографию, на которой мог стоять Литвинов. Искал, чтобы доказать себе, что старик был. Что не сошёл с ума он сам.

Он нашёл не то.

На снимке 2051 года — конференция к десятилетию института, зал, трибуна, президиум — в заднем ряду, с краю, стоял человек. Седой. Лет шестидесяти. В тёмном пиджаке, который сидел на нём так, как сидит пиджак на человеке, который носит его уже много лет, не глядя в зеркало.

Воронцов узнал себя.

Не потому что лицо было знакомо — оно было, конечно, знакомо, оно было его собственным лицом, только старше. Узнал он не лицо. Узнал осанку, посадку головы, тот самый пово-

рот корпуса, которым Воронцов входил в комнату, когда не хотел, чтобы его заметили. Этот человек на фотографии стоял так, как Воронцов стоял всегда.

2051 год. Через два года ему самому будет тридцать три — а человеку на снимке, судя по седине и морщинам, было около шестидесяти. Воронцов попытался найти на этом лице что-то от себя нынешнего — и не нашёл ничего, кроме собственной осанки, посаженной в чужое, старшее тело.

Он перевернул снимок. На обороте чернилами: «Конференция к 10-летию института. Июнь 2051 г.».

Воронцов сидел на полу архива с фотографией в руках, и в голове у него было пусто — ровно так пусто, как бывает в момент, когда мир делает шаг в сторону и ты видишь шов, который был скрыт. Он не заметил, как пришла Марина. Услышал только, как она сказала:

— Я знаю этого человека.

Воронцов поднял голову.

Марина стояла в проходе между стеллажами, в руках — коробка с папками, которые она несла в утиль. Она смотрела на снимок, и лицо у неё было спокойное, как у человека, который сообщает само собой разумеющееся.

— Ты знаешь его? — переспросил Воронцов.

— Да. Я его помню.

— Откуда?

Марина поставила коробку на пол. Подошла, села рядом, взяла снимок.

— Не помню откуда, — сказала она. — Просто помню. Он однажды сказал мне, что ты умрёшь в 2052 году.

Воронцов смотрел на неё. Она смотрела на снимок.

— Марина, — сказал он тихо. — Этому человеку шестьдесят лет. Мне тридцать один. Этой фотографии два года. То есть её ещё не существует.

— Я знаю.

— И всё равно ты его помнишь.

— Помню.

Она подняла на него глаза. Впервые за эти дни Воронцов увидел в них то, что узнал: не растерянность — страх. Тихий, взрослый, хорошо спрятанный страх человека, который начинает понимать, что реальность — не то, что было.

— Алексей, — сказала Марина. — Что ты включил в ту ночь?

Воронцов не ответил. Он смотрел на фотографию, на себя в шестьдесят лет, на человека, который стоял в зале в 2051-м и знал, что Воронцов умрёт в 2052-м.

Странное дело: он не почувствовал страха смерти.

Он почувствовал страх перед жизнью, которую ещё не прожил. Потому что человек на снимке стоял спокойно. У него был вид человека, который всё это уже знает. Который пришёл на конференцию в честь десятилетия института, который ещё не построил машину времени, — просто потому, что ему нужно было на неё посмотреть. И Воронцов вдруг понял, что не знает, кто он для этого человека: прошлое. Воспоминание. Или предупреждение.

За окном архива пошёл дождь. Обычный, осенний, серый. Воронцов посмотрел в окно и подумал, что дождь идёт не так.

Он не мог объяснить, как именно. Просто в том, как падали капли, было что-то неправильное, какой-то сбой в ритме, который никто, кроме него, не замечал. Как будто кто-то переставил местами несколько строк в книге, которую читают все, — а Воронцов видел обе версии сразу.

— Пошли отсюда, — сказал он. — Здесь холодно.

Они вышли из архива. В коридоре, у окна, стояла женщина — пожилая, в сером платке, с хозяйственной сумкой. Воронцов видел её здесь впервые. Она смотрела в окно на дождь и

улыбалась — не ему, себе. Что-то в её лице задержало его взгляд. Что-то такое, отчего ему захотелось подойти и спросить, кто она и почему улыбается дождю.

Он не подошёл. Он шёл мимо, к лестнице, и думал о фотографии в кармане, о человеке, который знал, что Воронцов умрёт в 2052-м, и о женщине, которая улыбалась дождю, который шёл не так.

В кабинете было холодно — отопление уже не работало, только на втором этаже, где ещё теплилась жизнь. Марина села в кресло у окна, поджав ноги, как садилась всегда, и Воронцов поймал себя на том, что стоит и смотрит на неё, а она — на фотографию. Он опустил на стул напротив. Между ними был стол, заваленный его бумагами, и тишина, в которой они оба долго не решались заговорить.

— Мне страшно, — сказала Марина наконец, не поднимая глаз.

Воронцов не ответил сразу. Он не помнил, чтобы она говорила это ему когда-нибудь. Она была из тех людей, которые делят страх на двоих только тогда, когда он становится неподъёмным.

— Я тоже боюсь, — сказал он.

— Нет, — она покачала головой. — Ты боишься за себя. За то, что сходишь с ума. А я боюсь за тебя. Это другое.

Воронцов смотрел на неё и вдруг понял, что они развелись два года назад, а он до сих пор не знает, почему она приходит к нему каждый день. Из жалости? Из привычки? Из того, что она — единственная, кто помнит человека на фотографии, а значит, связана с ним так, как никто другой? Он не знал. Он знал только, что её присутствие в кабинете — единственное, что в эти дни не выглядело как предательство реальности.

— Что ты будешь делать? — спросила она.

— Доживу до вторника. Потом — посмотрю.

Марина усмехнулась — коротко, краешком губ.

— Это очень похоже на тебя. Дожить до вторника.

— А что ещё делать, когда мир перестал сходиться? Вторник — это единственное, что у меня пока есть.

Она посмотрела на него — долго, пристально, и в её глазах мелькнуло что-то, чего он не смог разобрать. Потом она встала, подошла к его столу, взяла ручку и на обороте какого-то старого черновика написала телефон. Свой.

— На случай, если вторник наступит раньше, — сказала она. — Звони.

Воронцов взял листок. Он не стал спрашивать, зачем. Он просто убрал его в карман, рядом с фотографией, и впервые за неделю почувствовал, что в этой комнате, в этом институте, в этом расплывающемся мире есть хоть что-то твёрдое, за что можно держаться.

Вечером он вернулся в институт — за вещами, которых уже не было: коробки уехали, полки опустели, в лаборатории 7 остались только кольца да запах озона. Он долго стоял в темноте, глядя на них. Ему казалось, что они тоже смотрят на него — не враждебно, а терпеливо, как смотрят на человека, который пока не понял, что уже сделал. Воронцов вышел, закрыл дверь, и впервые за много дней не проверил, запер ли замок.

Воронцову было тридцать один. Ему предстояло прожить жизнь, которую он ещё не понимал.

ЗАПИСЬ 3

Человек из будущего

Ноябрь 2049 года. Институт темпоральных систем, подземный архив.

Оператор: Воронцов А.

Через две недели институт почти опустел.

Воронцов ловил себя на том, что ходит по пустым коридорам, как по чужому телу: узнаёт и не узнаёт. Здесь был шкаф, в котором стояла кружка с отбитой ручкой, — шкаф унесли. Здесь на подоконнике сохла герань — герань увезли домой лаборантка с первого этажа. Здесь стена была ободрана там, где висела табличка «Лаборатория 7», — табличка исчезла вместе с шурупами, оставив четыре дырки.

Воронцов водил пальцем по этим дыркам каждый день, возвращаясь сюда, как возвращаются к больному зубу языком. Он ждал.

Он не знал, чего именно ждёт. Не человека — нет. Он ждал ответа. Ответ должен был прийти откуда-то, потому что вопросы копились, и каждый день добавлял новый: почему Марина помнит человека, которого не существует? Почему в реестре нет Литвинова? Почему дождь идёт «не так»? И главное — почему надпись на жёлтом листе была сделана его рукой, которую он не узнавал?

В эти две недели Воронцов впервые в жизни узнал, что такое настоящая пустота, — не та, что бывает, когда нечем заняться, а та, что бывает, когда некуда идти. Институт жил только в одном месте — на первом этаже, где комиссия по демонтажу пила чай в бывшей приёмной и спорила о том, кому достанется мебель. Воронцов не спускался туда. Он не мог смотреть, как его четыре года выносят в коробках, приклеивая бирки.

Он перебрал все бумаги, до которых смог дотянуться. Поднял учётные журналы, которых коснулся, — и каждый раз находил не то, что искал. Он даже сходил в кафетерий института — единственное место, где ещё работала жизнь, — и попытался поговорить с лаборанткой с первого этажа, той, что увезла герань. Она посмотрела на него с тем выражением, с каким смотрят на человека, который задаёт слишком много вопросов, и сказала: «А вы не помните, Литвиновых вроде не было. Был Королёв-Стрельцов, он же вечно галстук криво завязывал». Воронцов кивнул и ушёл. Он не стал уточнять, что криво галстук завязывал именно Литвинов.

Каждый такой разговор отнимал у него что-то. Не время — уверенность. Воронцов чувствовал, как под ним качается пол: ещё один свидетель, и он поверит, что сошёл с ума сам. Единственное, что его держало, — жёлтый лист в ящике и фотография в кармане. Два документа, которые не могли соврать. Он перечитывал лист по утрам, как молитву, и смотрел на фотографию по вечерам, как на приговор.

Наконец кто-то из техников, упаковывавших коробки, сказал ему:

— А вы в нижний ярус заглядывали? Там то, что не вошло в опись. Всё, что сочли «непрофильным», сволокли туда ещё в начале года.

Техник был молодой, лет двадцати пяти, в рабочей куртке с выцветшим логотипом демонтажной фирмы. Он стоял у двери с мотком шнура через плечо и смотрел на Воронцова с той любопытствующей осторожностью, с какой смотрят на человека, который ходит по зданию, где уже всё решено, но он почему-то не в курсе.

— А что там? — спросил Воронцов.

— Да всякое. Люди, которые сворачивали институт до вас, не стали разбираться. Всё, что непонятно, — вниз. Там и документы, и железо, и... — техник запнулся, — ...в общем, всякое. Я бы сам посмотрел, но мне за это не платят.

— Мне тоже не платят, — сказал Воронцов.

— А вам, судя по всему, и не надо платить, — техник усмехнулся. — Вы тут по другой причине. Я, знаете, таких людей уже видел. Они в закрытых зданиях всегда что-то ищут. Потом уходят. Иногда — с коробками. Иногда — просто так.

Он подхватил моток шнура и пошёл по коридору, не оборачиваясь. Воронцов смотрел ему вслед и думал о том, что этот случайный человек только что сделал для него больше, чем вся комиссия за три недели: он дал ему направление. Направление — это то, чего Воронцову не хватало сильнее всего. Он искал ответ в бумагах, в реестрах, в памяти — а ответ, возможно, лежал в подвале, среди того, что «не влезло в опись».

Нижний ярус был подвалом, и Воронцов, проработавший в институте четыре года, ни разу туда не спускался. Лестница была узкой, с голой лампочкой на каждом пролёте, и пахло внизу сырой бетонной пылью и ржавчиной. Подвал был заставлен коробками, стеллажами и вещами, которые некому было описать: стулья без ножек, старые шкафы, ящики с документами, на которые уже давно легла пыль ровным слоем.

Воронцов шёл между стеллажами и невольно отмечал то, что успел выучить за годы работы: вот коробка с описью, которая не сходится с содержимым; вот ящик с журналами, который, судя по бирке, должен был быть в другом корпусе; вот шкаф, на котором лежит папка с надписью «не проверено» — и не проверено, видимо, лет двадцать. Институт был здесь честнее, чем наверху: в подвале он не притворялся, что знает, что у него есть. Он просто хранил.

Среди этого, на корточках, в луче света из узкого окна под потолком, сидел человек.

Он сидел, не шевелясь, с фотографией в руках. На фотографии был институт — тот самый, только новее: зелёные деревья, свежая краска на стенах, машина у входа. Человек рассматривал её с тем спокойным вниманием, с каким рассматривают не память, а географическую карту.

Воронцов остановился на пороге.

Человек поднял голову.

Это был он. Не «похожий на него» — это был Воронцов. Старше, на много лет старше, с седыми волосами и сеткой морщин, которая начиналась у глаз и спускалась к уголкам губ, но это был он: тот же разрез глаз, та же линия челюсти, та же посадка головы. Над правой бровью — шрам, который Воронцов получил в десять лет, упав с гаража. Шрам был на месте.

— Ты не должен был открывать архив, — сказал человек.

Голос был его. Ниже, суше, но его.

Воронцов не сдвинулся. Он стоял в дверном проёме и смотрел на себя, которому шестьдесят девять. Он ожидал многого — чуда, ловушки, розыгрыша, — но не этого. Человек в подвале был не страшным. Он был будничным. Он сидел на корточках, как сидят люди, привыкшие ждать часами, и держал фотографию так, как держат вещь, которую уже рассмотрели и теперь держат просто так, чтобы руки были заняты. От него пахло пылью — тем же подвалом, в котором он сидел. Никакой тайны, никакого ореола. Только усталость, спрятанная за спокойствием.

— Кто ты? — спросил он.

— Ты, — ответил человек. — Только ты, который не сделал того, что ты только что сделал.

Воронцов почувствовал, как в горле становится тесно.

— Я тебя не понимаю.

— И хорошо, — человек аккуратно положил фотографию обратно в коробку. — Понимать будешь не сейчас. Сейчас тебе нужно только одно: слушать.

— Почему я должен тебе верить?

— Ты и не должен. Но шрам у меня на брови ты уже проверил. Проверяешь глазами, не думая. Я знаю этот взгляд. Я смотрел так на себя в зеркале тридцать восемь лет.

Воронцов промолчал. Это было правдой — он проверил шрам. Он заметил и другое: человек сидел на корточках с такой лёгкостью, какая бывает только у людей, привыкших ждать. Воронцов ждать не умел. Он всегда торопился — и сейчас, стоя напротив себя самого, который умел ждать, он впервые почувствовал, насколько велика дистанция между ним и этим человеком.

— Ты не боишься меня, — сказал человек. — Почему?

— Не знаю.

— А я знаю. Потому что ты меня уже видел. На фотографии. В 2051-м. Ты уже начал привыкать к тому, что мир больше не сходится. Тебе страшно, но не от страха ты сейчас дрожишь. От жадности. Ты хочешь узнать.

Воронцов хотел возразить. Он открыл рот — и понял, что возразить нечего. Старик был прав. Внутри него, под страхом, под непониманием, под тем, что он не мог объяснить даже себе, жило что-то другое. Жадность. Голод по знанию. Тот самый голод, который привёл его в лабораторию в ночь на семнадцатое. Он узнавал его теперь — этот голод был его лучшим другом и его худшим советником, и он уже один раз почти убил его.

— Ты хорошо себя знаешь, — сказал Воронцов.

— Тридцать восемь лет, — человек усмехнулся краешком губ, — некого больше изучать, кроме себя. Когда живёшь один, быстро узнаёшь, как ты думаешь. Когда живёшь один в мире, который переписан, — узнаёшь, как ты дышишь. Это разные вещи, и я уже не помню, когда научился второму.

— А институт? Ты же был здесь. Работал.

— Работал, — Старик кивнул, глядя куда-то в сторону, на стеллаж с коробками. — До того, как стало нечего охранять. Теперь я — вроде сторожа при музее, который закрыли, а ключи не сдали. Прихожу, когда надо. Смотрю, чтобы ничего не открылось раньше времени. Сегодня открылось.

— Ты ждал, что я спущусь?

— Я знал, что ты спустишься. Вопрос был только — когда. Ты, как и я, не умеешь оставлять открытые двери. Это у нас с тобой наследственное. — Он посмотрел на Воронцова, и в глазах у него мелькнуло что-то, похожее на усталую нежность. — Плохая наследственность, скажу тебе. От неё не откажешься.

Воронцов шагнул ближе. Лампочка на лестнице за его спиной мигнула и погасла, и в темноте осталась только полоса света из узкого окна — как раз той высоты, чтобы осветить лицо человека на корточках.

— Ты один живёшь? — спросил он.

— Один.

— А Марина?

Человек посмотрел на него — и в этом взгляде было столько, что Воронцову стало холодно. Он не ответил сразу. Он подождал, пока Воронцов сам услышит, что он сказал, и переспросит. Воронцов не переспросил. Он уже понял: ответ будет таким, что лучше не знать.

— Объясни, — сказал Воронцов.

Старик кивнул — не ему, своим мыслям. Потом сказал:

— Что ты включил семнадцатого октября?

— Установку.

— Нет. Ты включил не установку. Ты включил причину.

Воронцов молчал.

— «Хронос», — продолжил Старик, — не переносит людей. Он не переносит даже предметы — если ты думаешь, что жёлтый лист «прилетел из будущего», ты ошибаешься. Лист всегда был там. Просто до семнадцатого октября он был другим: чистым, белым, лежал в типо-

графии и ждал, когда его отрежут. В семнадцатое число ты изменил его прошлое. Ты сделал так, что он стал жёлтым и лежал на твоём столе тридцать восемь лет.

— Это невозможно.

— Это возможно. Это и есть «Хронос». Будущее становится причиной собственного прошлого. Машина не переносит ничего. Она переписывает причину. Она говорит: «это случится» — и прошлое послушно подстраивается, чтобы это случилось.

Воронцов чувствовал, как у него холодеют пальцы. Он сжал их в кулаки, спрятал в карманы. Он попытался представить себе это — не как метафору, а как механизм.оборот, в котором причина и следствие меняются местами: лист лежал на столе не потому, что кто-то его туда положил, а потому, что должен был быть там, когда Воронцов запустит машину. Прошлое — не запись. Прошлое — результат будущего, которое ещё не наступило. Воронцов гнал эту мысль, но она не уходила: если так, то его собственное прошлое — всё, что было с ним до семнадцатого октября, — тоже не запись. Тоже результат. Результат чего-то, что случится.

— Тогда я не существую, — сказал он вслух.

Старик не стал спорить. Он просто посмотрел на него — с тем терпением, которое Воронцов начинал ненавидеть и одновременно хотел научиться.

— Существуеть, — сказал Старик. — Просто не так, как ты думал. И теперь ты, наконец, готов это услышать.

Воронцов стоял, переваривая. Он был физиком. Он прожил тридцать один год в мире, где причина идёт впереди следствия, где сначала удар — потом звон, где сначала падение — потом боль. Мир был устроен понятно. Он казался ему честным. И вот ему говорят, что мир — это перевод с языка, на котором он не думал никогда, и что его собственное прошлое — не оригинал, а копия, сделанная с будущего, которое ещё не наступило.

Он попытался применить это к себе. Детство. Мать, которая пела ему по вечерам, — пела она потому, что пела, или потому, что в будущем кому-то нужно было, чтобы он помнил, как поют? Отец, который учил его держать отвёртку, — учил ли он, или это было уже предзадано? Воронцов погнал эти мысли. Они были бессмысленны и опасны — от них шатало, как от качки. И всё же одна мысль осталась, вцепилась, не отпускала: если прошлое — это результат будущего, то его собственный выбор не имеет значения. Не потому что он несвободен. А потому что он уже сделан — кем-то, кем он ещё должен стать.

— И что я включил? — спросил Воронцов тихо.

— Ты включил причину того, что я сейчас сижу здесь. Причину того, что мир через тридцать восемь лет будет другим. Ты включил начало.

— Начало чего?

Старик не ответил. Он смотрел на Воронцова, и в его взгляде было что-то, от чего Воронцову стало не по себе: не жалость, не злорадство. Терпение. Терпение человека, который знает ответ и ждёт, когда до него дойдёт другой.

— Марина, — сказал вдруг Старик.

Воронцов вздрогнул.

— Что Марина?

— Она умрёт в 2061 году.

Воронцов стоял, не двигаясь. Слово «умрёт» ударило его неожиданно — не как известие, а как удар по затылку: сзади, без предупреждения.

— Откуда вы знаете? — Голос сел, и он сам не заметил, как перешёл на «вы».

— Потому что я был рядом.

Воронцов посмотрел на него. Он хотел спросить «как это было», но не смог — не потому что побоялся, а потому что вдруг понял, что не имеет права спрашивать. Это была не его смерть. Это была смерть Марины, а он, Воронцов, — тот, кто должен был быть рядом, и тот, кто, судя по всему, не сумел ничего сделать. Он стоял и ждал, когда старик скажет что-нибудь

ещё, — и старик молчал, давая ему время, как дают время человеку, который должен сам дойти до вопроса.

— Что произошло?

Старик молчал долго. Потом сказал:

— Ты спас её.

— Тогда почему она умерла?

— Именно поэтому.

Воронцов смотрел на себя в шестьдесят девять лет, и в голове у него было пусто. Он открыл рот — и не нашёл, что сказать. Каждый ответ старика закрывал одну дверь и открывал за ней другую, и Воронцов чувствовал, как под ним уходит пол.

— Ты спас её ценой чего-то большего, — сказал Старик. — Так бывает всегда. Каждый раз, когда ты возвращаешься за ней, мир платит. Сначала мелочью: фотографией, воспоминанием, человеком, который «никогда не работал в институте». Потом больше. Ты уже видел, как это начинается. Литвинов. Дождь. Фотография 2051-го года.

Воронцов молчал. Он хотел сказать «я не возвращался за ней», но вспомнил, что он физик, а физик не спорит с данными. Данные были: Марина помнила человека, которого не существует. Данные были: фотография, на которой он старше, чем сейчас. Данные были: голос из мёртвого динамика, который сказал «не запускай установку». Что-то уже происходило. Что-то уже было сделано — не им, или им, но не в этой жизни. И всё это, по словам старика, начиналось с него. С того, что он не может не вернуться за ней.

— Я не помню, чтобы возвращался, — сказал он.

— Ты и не можешь помнить. Это в других версиях. Память переносится не между всеми, а только между теми, кто умеет нести. Ты — пока — не умеешь. Ты просто чувствуешь остаток. Прядь седых волос, которой ещё нет. Чувство, что ты уже шёл по этому коридору. Дезжавю, которое ты списывал на усталость. Это он, — Старик постучал себя по груди, где у Воронцова билось сердце, — это ты приходишь. Снова и снова.

Воронцов схватился за последнее:

— Фотография. Я на ней старый. Значит, я доживу.

— Доживёшь, — спокойно сказал Старик. — До две тысячи восемьдесят седьмого. Я — доказательство.

— Тогда что за «ты умрёшь в 2052-м»?

Старик посмотрел на него — и впервые за весь разговор в его лице что-то дрогнуло. Что-то, похожее на вину.

— Это правда, — сказал он. — В 2052 году ты умрёшь.

Воронцов молчал.

— И не умрёшь, — добавил Старик. — Смотря какая версия.

Воронцов вдруг понял, что больше не хочет спрашивать. Он стоял в подвале перед собственным будущим и чувствовал, как его страх заменяется чем-то другим — усталостью. Слишком много дверей открылось за один час. Он понял, что если сейчас спросит «какая версия», ему придётся нести ещё одну тайну, и спина у него уже не та.

— Покажи, — сказал он вместо этого.

Старик поднялся с корточек легко, без опоры на колени, — и это движение Воронцов узнал как своё. Так он сам вставал из-за стола, когда решил что-то окончательно: быстро, всем корпусом, как будто спиной толкает дверь.

— Иди за мной, — сказал Старик. — Я покажу тебе, что ты включил.

— Покажешь как?

— Не глазами. Памятью. Это единственное, что переносится между версиями, — она. Память.

Он прошёл мимо Воронцова, к лестнице, и на мгновение они оказались лицом к лицу — вплотную, как в зеркале, если бы зеркало было на тридцать восемь лет старше. Воронцов увидел свои собственные глаза в чужих морщинах и понял, что человек перед ним устал. Устал так, как Воронцов ещё не умел: глубоко, до дна, до той усталости, которая уже не проходит и не мешает — просто становится фоном.

— Кто управляет всем этим? — спросил Воронцов. — Тем, что ты показать хочешь? Миром через тридцать восемь лет?

Старик не обернулся.

— Ты.

Воронцов остановился. Он думал, что услышит что угодно: «государство», «комиссия», «люди», «ошибка». Но не «ты». Это слово ударило его сильнее, чем «умрёт» минуту назад, — потому что за ним стояло не будущее, а прошлое. Всё, что он построил, все эти четыре года, все ночи в лаборатории, все споры с Литвиновым — всё это было не зря. Оно было началом. Он думал, что строит машину, которая сломает мир, — а оказалось, он строил машину, которая мир удержит. И теперь он не знал, что хуже.

— Я?

— Именно ты. Ты создал «Хронос». Ты включил его. Ты построил всё, что будет после. Институт, который ты думаешь, что уничтожил, — ты его не уничтожил. Ты его создал снова. Просто по-другому.

Он сказал это тем же тоном, каким говорил о погоде. И пошёл вверх по лестнице, в темноту.

Воронцов постоял секунду. Он посмотрел на коробки, на пыль, на луч света из окна, который ещё секунду назад освещал его собственное старое лицо. Он думал о том, что только что разговаривал с собой, которому шестьдесят девять, и что этот разговор был единственным по-настоящему честным разговором за всю его жизнь. С собой нельзя врать. С себя нечего скрывать.

Он сделал шаг к лестнице — и остановился. Что-то его задержало. Не мысль — ощущение. Он вдруг поймал себя на том, что смотрит на коробку, из которой Старик достал фотографию. На миг ему показалось, что на снимке, который лежал сверху, — два человека, а не один. Но он не стал проверять. Он не был уверен, что готов увидеть на этой фотографии то, чего не должен.

Потом он пошёл за ним.

За окном подвала, высоко, шёл дождь. Воронцов не стал проверять, «правильно» ли он идёт. Он вдруг понял, что больше не хочет знать, «правильно» или нет. Он хотел знать только одно: зачем он сам, шестьдесят девять лет, пришёл к себе, тридцати одному, в подвал института, который закрывают.

Ответ был у него в кармане. Жёлтый лист. Четыре строки. «Не пытайтесь спасти мир. Мы уже пытались.»

И он шёл за этим ответом — вверх, в темноту, к себе.

На верхней площадке Старик ждал его. Он стоял у окна — того самого, выходящего на внутренний двор, — и смотрел на серое небо. Воронцов подошёл и встал рядом. Дождь шёл мелкий, нудный, и в этом дожде не было ничего неправильного — наоборот, он был слишком правильный, слишком ровный, как будто его нанесли на небо линейкой.

— Ты боишься, — сказал Старик, не оборачиваясь.

— Я уже сказал. Не боюсь.

— Боишься. Ты боишься не того, что я покажу. Ты боишься, что я покажу что-то про Марину, и ты не сможешь это забыть.

Воронцов промолчал. Старик был прав — он уже понял это за те несколько минут, что шёл по лестнице. Память, о которой говорил Старик, была не фильмом, который можно выключить. Она была ношей. Он боялся взять её, потому что знал: отданное однажды не возвращают.

— Не буду обещать, что там не будет её, — сказал Старик. — Потому что она есть во всём, что я тебе покажу. Она — часть цены, которую ты платишь с того самого вечера. Ты должен это увидеть не потому, что я хочу тебя мучить, а потому что без этого ты не поймёшь, с чем связался.

— А если я не хочу понимать?

— Тогда остановись сейчас, — Старик повернулся к нему. Голос у него был ровный, без угрозы. — Повернись и уйди. Забудь про архив, про лист, про меня. Живи. Я найду другой способ.

— Найдёшь?

— Найду. У меня есть время. У тебя — нет. Поэтому решай сейчас: ты пойдёшь со мной в память — или вернёшься к себе в кабинет и будешь до конца жизни объяснять себе, почему дождь идёт не так.

Воронцов смотрел на него. Он знал, что это шантаж — но шантаж особого рода: ему предлагали то, чего он хотел больше всего на свете, и называли это выбором. Он мог бы уйти. Он почти ушёл — на секунду, длиной в удар сердца, он представил себе это: спуститься по лестнице, выйти за ограду, сесть в трамвай и жить дальше, как будто ничего не было. И в этой картинке была такая лёгкость, что у него защемило.

Он подумал о Марине. О её глазах, когда она сказала: «Он однажды сказал мне, что ты умрёшь в 2052-м». О её руке на его руке в ночь запуска. О том, что она единственная, кто видит, что мир не сходится, — и что она видит это, потому что он сам развязал ей глаза. Если он сейчас уйдёт, она останется одна с этим знанием. А он — с тем, что знает, но делает вид, что не знает. Он уже один раз так сделал — развёлся с ней, чтобы не объяснять, почему не может быть с ней рядом так, как она хочет. И вот теперь история повторялась в другом масштабе: он снова уходил, оставляя ей ношу.

— Пойду, — сказал он.

Старик кивнул — без торжества, без облегчения. Просто кивнул, как кивают человеку, который сделал то, чего от него ждали, — и это, пожалуй, было хуже всего. Воронцову вдруг показалось, что его выбор был известен заранее. Что он вовсе не выбирал — он просто догонял решение, которое уже принял за него кто-то другой.

— Сядь, — сказал Старик, кивая на подоконник. — Это долго. И запомни главное, — он посмотрел на Воронцова в упор, и в его глазах впервые за весь вечер мелькнуло что-то, похожее на предупреждение. — То, что ты увидишь, — правда. Но не вся. Правда — как веер: то, что ты видишь сейчас, — только одна дорога из тысячи. И когда ты вернёшься, ты будешь помнить не то, что было, а то, что могло быть. Это разные вещи. И ту, и другую придётся нести.

— Я смогу, — сказал Воронцов.

— Сможешь, — согласился Старик. — Но сначала — понесёшь. Это разные вещи, и ты ещё не знаешь второй.

Он посмотрел на Воронцова долгим взглядом — тем самым, с терпением, — и в этом взгляде Воронцов вдруг увидел не старика, а мальчика. Себя — каким он был в детстве, когда стоял у доски с задачей, которую не мог решить, и всё равно не отходил. Тот мальчик не умел бросать. Он тоже не умел. Видимо, это не проходило — не с возрастом, не с морщинами, не за тридцать восемь лет.

Воронцов сел на подоконник. Старик сел напротив, на корточки — как сидел в подвале, привычно, легко. Он протянул руку — и Воронцов, сам не зная зачем, протянул свою.

Память пришла не как картинка. Она пришла как тело.

ЗАПИСЬ 4

Город, в котором не ошибаются

Ноябрь 2049 года. Подземный архив, НИИ темпоральных систем — и за его пределами. Оператор: Воронцов А. Способ получения сведений: память будущего оператора.

Память пришла не как картинка. Она пришла как тело.

Сначала — запах. Воздух, чистый, как после дождя, но без сырости, без гнили, без выхлопа, без всего, из чего состоит воздух живого города. Воронцов вдохнул его — и понял, что никогда не дышал таким. Потом — звук. Не тишина: тишина была бы другой. Это было отсутствие шума, устроенное кем-то. По улице шли люди, но шаги их почти не слышались, и не было ни одного звонка, ни одного сигнала, ни одного крика.

Потом — свет. Ровный, мягкий, рассеянный. Воронцов поднял голову и не нашёл солнца: небо было покрыто тонкой, однородной пеленой, сквозь которую свет проходил, как через молоко. Ни одного облака. Ни одного просвета. Ни одного «не так».

Он стоял посреди города.

Это был город, которого он не знал, но который понимал, — и понимание было первым ударом. Он понимал его не как чужой, а как собственный дом, в котором переставили мебель. Прямые улицы. Чистый асфальт без трещин, разметка, которая не стёрлась, а была нанесена заново. Дома — ровные, без вывесок, с окнами, за которыми теплился ровный, одинаковый свет. Ни одной рекламы. Ни одного граффити. Ни одной палки, торчащей из мусорного бака, потому что мусорных баков не было: мусор исчезал раньше, чем успевал стать мусором.

Люди шли по тротуару — неторопливо, ровным шагом, на расстоянии, которое никто не нарушал. Они были одеты спокойно, чисто, почти одинаково, и лица у них были спокойны. Не счастливы — спокойны. Это различие Воронцов почувствовал не сразу. Он почувствовал его, когда понял, что за десять минут ходьбы ни разу не услышал смеха.

Он попробовал найти взглядом хоть одного человека, который спешил бы. В его городе люди всегда спешили — куда-то, зачем-то, опаздывая, догоняя, на ходу проверяя телефон. Здесь не спешил никто. Это не было усталостью — усталые ходят тяжело. Здесь ходили легко и ровно, как ходят, когда торопиться незачем, потому что всё начнётся тогда, когда оно должно начаться, и ни на минуту раньше. Воронцов поймал себя на том, что замедлился сам — не потому что решил, а потому что город снял с него скорость, как снимают пальто.

Старик шёл рядом. Воронцов знал, что это он — хотя шёл не он, а Воронцов сам, тридцать восемь лет спустя, и видел город глазами, которые уже привыкли к нему. Память была его собственной — будущей. Воронцов смотрел на город глазами человека, который жил в нём, и вместе с этим взглядом в него вливалось знание: названия улиц, расписание, привычки, порядок. Знание приходило не словами — оно было просто частью зрения. Он смотрел на здание и уже знал, что за ним двор, что в дворе три скамейки, что на средней сидит старик, который приходит сюда каждый день в одно и то же время. Он не видел старика. Он просто знал — и от этого знания, такого естественного, у него защемило в груди.

— Красиво, — сказал Воронцов. Он сказал это себе — в памяти не было собеседника, — но голос прозвучал.

— Да, — ответила память. Его собственный голос, старый, спокойный. — Это один из самых спокойных городов в истории человечества.

— Зачем ты мне это показываешь?

— Чтобы ты решил, красотой этого платить или нет.

Воронцов шёл по улице, и город впускал его в себя, как впускает дом, в котором всё уже приготовлено. Всё было решено. Всё было известно. На перекрёстке, где, по всем законам города, должны были толпиться машины, стояла одна-единственная — электрическая, бесшумная, она подъехала к остановке, и три человека вошли в неё, и машина уехала, и улица снова стала пустой.

— Где все? — спросил Воронцов.

— На работе. Дома. Внутри. Снаружи нет ничего, ради чего нужно было бы выходить.

— А парки? Дети?

— Есть. Дальше по улице.

Дальше по улице был парк. Воронцов узнал его, как узнают по запаху: деревья, трава, дорожки. В парке было тихо. На скамейках сидели люди — неподвижно, глядя перед собой. Кто-то читал с планшета. Кто-то просто сидел. Дети были на площадке — ровные, в аккуратной одежде, они стояли у песочницы и не ссорились. Они не отнимали друг у друга совки. Они не плакали.

Воронцов остановился.

Он стоял и смотрел на них, и ему было холодно. Не от погоды — в этом городе не бывало плохой погоды, погода здесь была одна, ровная, одинаковая. Холодно было от того, как дети стояли. Они не бегали. Не толкались. Не хохотали. Одна девочка лепила кулич, вторая стояла рядом и смотрела, не помогая и не мешая. Воронцов прожил тридцать один год и видел, как играют дети: громко, шумно, с обидами, которые забываются через минуту, и с радостью, которую не нужно контролировать. Здесь не было ни обиды, ни радости. Было терпение.

— Они не дерутся, — сказал он.

— Не дерутся.

— Почему?

— Им не из-за чего. Система следит, чтобы не было поводов.

Воронцов посмотрел на мать, которая сидела на скамейке в двух метрах от площадки. Она не смотрела на ребёнка — она смотрела перед собой, на дорожку. Не со скукой — с покоем. Воронцов не мог отделаться от ощущения, что этот покой — не свойство человека, а свойство помещения. Как у растений, которые всегда повернуты к свету, — их можно повернуть как угодно, и они повернутся снова. Ему захотелось подойти к этой женщине и спросить: «Вы счастливы?» Но он знал, что ответит она. Она ответит «да» — и будет искренна. И это было страшнее любого «нет».

— Система? — Воронцов повернулся. В памяти его собственное лицо смотрело на него терпеливо, с чуть заметной грустью. — Ты говоришь так, будто это машина.

— Это не машина. Это люди. Они называют это «общественное здравоохранение истории». Как вакцинация: вовремя поставленный укол, вовремя исправленное прошлое. Никто не называет это властью. Все называют это здоровьем.

— И ты в этом участвуешь?

Память молчала. Потом ответила:

— Я его создал.

Воронцов почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Он стоял на дорожке парка в городе, который был его собственным будущим, и смотрел на детей, которые не ссорились, и думал о том, что тишина этого города — не мир. Это результат. Результат того, что кто-то заранее убирал из прошлого всё, что могло привести к шуму.

Он прошёл мимо площадки. На лавочке, чуть поодаль, сидел мальчик лет семи — один, с планшетом в руках. Он не играл. Он смотрел на планшет, и на экране медленно сменялись картинки — одинаковые, спокойные, как всё здесь. Воронцов задержал взгляд на его лице. Мальчик был сыт, одет, здоров. Ему не было ни грустно, ни весело. Ему было — как всем в этом городе. И Воронцов, глядя на него, вдруг понял, что хуже всего здесь даже не то, что дети

не дерутся. Хуже всего то, что им не нужно держаться. Ни за кого и ни за что. Драка — это ведь не только зло. Драка — это ещё и то, что ты заметил другого. А здесь никто никого не замечал. Все были — как воздух: рядом, но без соприкосновения.

Он пошёл дальше, сам не зная куда, и город нёс его, как несёт река. Мимо ровных домов, мимо витрин, в которых не было ни одного прилавка с «безумной распродажей» и ни одной вывески, кричащей о скидках. Мимо библиотеки, где на фасаде висела табличка, которую Воронцов прочитал дважды: «Фонд сохранённых произведений. Доступ по запросу».

Он остановился перед ней. Название было неуклюжим — так неуклюжи бывают названия, которые придумывали, чтобы не называть вещи своими именами. «Сохранённые произведения». Не «литература», не «фонд», не «библиотека». Воронцов смотрел на табличку и чувствовал, как внутри ворочается что-то, чему он пока не мог дать имени.

— Что это значит — «сохранённых»? — спросил он.

— Сохранённых. Тех, которые сочли нужным сохранить.

— А остальные?

— Остальных не было.

Воронцов остановился. Он почувствовал, как по спине прошёл холод, — не от ветра, ветра в этом городе не было.

— Их не было? — переспросил он. — Или их стёрли?

Память ответила не сразу. Она смотрела на здание библиотеки — Воронцов смотрел глазами этой памяти — и в её голосе было что-то, похожее на усталость человека, который отвечает на один и тот же вопрос много лет.

— Это не одно и то же, — сказала память. — Когда книга не написана, её не существует. Когда её стёрли, её тоже не существует. Никто не заметит разницы. Кроме тех, кто помнит.

— Ты помнишь?

— Я оператор.

Воронцов стоял перед зданием, где хранились «сохранённые» произведения, и понял, что ему страшно входить внутрь. Не потому что там было опасно. А потому что он боялся увидеть, что в списке «сохранённых» нет ни одной книги, которая ему дорога.

Он всё-таки вошёл — сам не зная зачем. Может быть, чтобы проверить. Может быть, чтобы убедиться, что всё не так страшно, как он себе напридумывал. Внутри библиотека была такой же ровной, как всё в этом городе: длинные столы, тихий свет, ряды полок, на которых стояли книги в одинаковых переплётах. Но Воронцов, привыкший читать по названиям, как читают по лицам, быстро понял, что что-то не так. Книги на полках были — но это были не те книги. Он шёл вдоль стеллажей и узнавал названия, которые читал в детстве, — и не находил тех, которые любил. Здесь было всё самое надёжное, самое проверенное, самое безопасное. Здесь не было ничего, что могло бы кого-то перевернуть.

Он вышел из библиотеки, не взяв ни одной книги. Он уже понял: это не хранилище. Это сито. Здесь оставили то, что не мешает, и выбросили то, что может. И теперь, стоя на улице, глядя на ровный фасад, он вдруг с острой, как порез, ясностью понял, чего именно боится: что в этом списке когда-нибудь не окажется и его собственной жизни. Что кто-то решит, что она «не сохранённая».

Вместо этого он пошёл дальше, и город показал ему то, что показывал каждому новому, — экономику. Воронцов не сразу понял, что видит, потому что витрины были слишком чистыми, слишком одинаковыми. Но память объясняла, как объясняет экскурсовод: всё это — службы. Доставка, уборка, здоровье, обучение. Товаров, которые можно было бы выбирать, не было: товары были назначены. Воронцов увидел магазин, в котором все полки были одинаковыми — один и тот же набор, одно и то же расположение, — и понял, что выбор здесь не просто не поощряется. Он устранён.

Воронцов зашёл в один из магазинов — память вела его, и он шёл, как шёл бы по собственному городу, если бы его переставили. Внутри было чисто и пусто. Продавца не было — товары лежали на полках, и их можно было взять, потому что корзина, в которую их клали, автоматически вычитала из персонального счёта. Воронцов взял с полки упаковку — одинаковую, без названия, с одной-единственной меткой на боку. Он подержал её в руках и положил обратно. Выбирать было не из чего, а не выбирать он уже разучился.

— Люди выбирают в другом месте? — спросил он.

— Люди выбирают через заявки.

— Через что?

— Заявка. Запрос на исправление. Если человеку не нравится, как сложилась его неделя, он подаёт заявку — и его неделю исправляют. Это называется «бюро благополучия».

Воронцов смотрел на витрины. Он вспомнил слова Старика: «Это один из самых спокойных городов в истории человечества». Он понимал теперь, что спокойствие — это не результат. Это продукт. Товар, который производят, как производят молоко или хлеб. И производят его из того же сырья, из которого делают ошибки.

Он пошёл туда, где город был тише всего, — на площадь. Площадь была пуста, если не считать одной фигуры. Девочка лет десяти, в светлом платье, стояла посреди площади с воздушным шаром в руке. Шар был красный, единственное яркое пятно во всём городе.

Воронцов подошёл ближе. Девочка не обернулась. Она стояла, глядя вверх, на шар, на однородное небо, и в лице у неё не было ничего — ни нетерпения, ни скуки, ни любопытства. Она просто стояла.

Он остановился в нескольких шагах, не решаясь подойти. Что-то в ней было не так — и Воронцов не сразу понял, что именно. Потом понял: она была единственным человеком в этом городе, которого он видел стоящим на открытом месте. Все остальные двигались, сидели, шли. Она стояла — и стояла одна, посреди пустой площади, где не было ни скамеек, ни клумб, ни причин стоять. Она стояла, потому что стояла. Или потому, что её оставили.

— Что ты хочешь? — спросила память. Её голос, обращённый к девочке, был мягким.

Девочка посмотрела на него.

— Не знаю.

— Что тебе нравится?

Она задумалась. Настоящая задумчивость, длинная, как пауза в чужом разговоре. Потом ответила:

— Не знаю.

Воронцов смотрел на неё, и ему было холодно. Не от города — от ответа. Девочка не была несчастна. Она не была больна. Она просто не знала, что ей нравится, потому что её никогда не учили выбирать. В её мире не было неправильных решений, поэтому не было и решений. Были только «да» системе, которое она произносила, не задумываясь.

Он шагнул к ней — сам не зная зачем. Ему захотелось спросить, почему она держит шар, если ей всё равно. Ему захотелось спросить, кто ей его дал. Ему захотелось сказать ей, что красный шар — это красиво, что она может его отпустить, что она может захотеть чего-нибудь. Он открыл рот — и вдруг понял, что говорить нечего, потому что она не поймёт. Она не знала, что шар можно отпустить. Она не знала, что его вообще можно не держать.

— Ей не нужен шар, — сказал Воронцов. — Она его даже не держит как следует.

— Ей некуда с ним идти, — ответила память.

Воронцов хотел что-то сказать — злое, резкое, — но не успел. Память повела его дальше, и город закрутился вокруг, и Воронцов увидел то, чего не замечал раньше, потому что смотрел на чистоту: науку. Он увидел её в датах, которые знал наизусть, потому что они были его собственной биографией. Последнее крупное открытие в физике — 2059 год. Последний прорыв

в медицине — 2057. Последний новый жанр в музыке — 2054. Всё, что происходило после, было повторением. Переизданием. Компилацией.

— Они ничего не изобретают, — сказал Воронцов.

— Не изобретают.

— Почему?

— Потому что изобретение — это ошибка. Это попытка, которая может не получиться. Система делает ошибки невозможными. А вместе с ними — и открытия.

Воронцов стоял на улице города, который был его будущим, и думал о том, что он — физик. Он всю жизнь жил ошибками. Ошибка была не врагом — она была материалом. Из ошибок рождались гипотезы, из гипотез — теории, из теорий — машины, которые он строил. И теперь ему показали мир, в котором ошибок нет, — и понял, что этот мир не создан для него. Он был создан против него. Против всех, кто когда-либо ошибался, спотыкался, падал — и поднимался, потому что хотел попробовать ещё раз.

И здесь, в этой точке памяти, Воронцов увидел первую катастрофу. Не увидел — почувствовал, как чувствует память, когда ей не нужно объяснять. Это случилось рано, в начале пятидесятых, когда исправлений было ещё мало. Пожар на заводе — люди выносили из цеха то, что можно было вынести, и умирали, возвращаясь за тем, что нельзя. В памяти было их десять. Спасённых. СВН исправила пожар: завод не горел, люди не умирали, заявка была закрыта, все были довольны.

Воронцов почувствовал, как память наполняется деталями. Завод был старый, с кирпичными стенами и длинным цехом, где собирали электрические двигатели. Люди, которые выносили из цеха то, что можно было вынести, — детали, станки, чертежи, — возвращались за тем, что нельзя: за инструментом, за чужими вещами, за человеком, который остался у дальней стены. Воронцов видел их лица — не как в фильме, а как видит память: смутно, сбоку, по одной черте. И всех десятерых он знал, как знают тех, кого однажды спас. Они шли в дыму, и каждый думал только об одном: донести. А потом поправка пришла, и завод не горел, и их не стало — не умерли, а просто не стали. Никто не знал, что они были.

А потом Воронцов увидел другого человека. Того, кто должен был остаться в живых благодаря пожару. Кто не умер на пожаре — потому что пожара не стало. Кто жил, потому что его жизнь была куплена той самой поправкой, которая спасла десятерых. И в один из дней он вышел из дома — и его не стало. Не умер. Его не было. В памяти не осталось даже его лица — только ощущение, только чувство, что где-то в веере был человек, которого закрыли, чтобы открыть дорогу десяти другим. Десять спасённых. Один закрытый. И никто, кроме операторов, не узнал.

— Десять и один, — сказал Воронцов.

— Да, — сказала память. — Так это и работает. Первая поправка, которую я запомнил по-настоящему. Десять спасённых жизней. И одна, которой не стало. Мне тогда казалось, что математика честная: десять больше одного. Я не знал, что веер считает иначе.

— Как он считает?

— Он считает не жизни. Он считает дороги. Десять спасённых — это десять дорог, которые открылись. Но одна закрытая — это сотня дорог, которые могли бы из неё вырасти. Вот почему веер падает быстрее, чем растут спасённые. Вот почему каждая поправка опаснее предыдущей.

Воронцов шёл и чувствовал, как город сужается вокруг него, как сжимается воздух, как становится тесно. Ему вдруг захотелось крикнуть — громко, чтобы разорвать эту ровную, отлаженную тишину, чтобы хоть один человек обернулся, хоть одна девочка уронила шар.

Он не крикнул. Вместо этого он спросил:

— Но ведь здесь хорошо жить. Никто не болеет так, как болели мы. Никто не воюет. Никто не умирает от голода.

— Верно.

— Тогда почему ты хочешь всё это уничтожить?

Память молчала так долго, что Воронцов подумал — она не ответит. Город шёл мимо, ровный, спокойный, одинаковый. И наконец память ответила — тихо, без пафоса, как отвечают на вопрос, который давно решили для себя:

— Потому что я знаю, что они думают. Я знаю, что девочка на площади не знает, что ей нравится, и не узнает. Я знаю, что из этой библиотеки не выйдет ни одной новой книги. Я знаю, что мир больше никогда не сделает ничего неправильного — и поэтому не сделает ничего.

Воронцов посмотрел на себя в будущем, на лицо, к которому уже успел привыкнуть, и спросил:

— Ты хочешь вернуть хаос?

— Я хочу вернуть право ошибаться.

Память начала таять. Город поплыл, как сон, из которого вытаскивают слишком рано, — и Воронцов почувствовал, как под ногами уходит пол, как возвращается сырой воздух подвала, запах бетонной пыли и ржавчины. Он стоял на нижнем ярусе, прислонившись к стеллажу, и его трясло.

Он не сразу понял, что плачет. Слезы текли по лицу — не от страха, не от горя. От накопленного за час холода, который нужно было выпустить, иначе он раздавил бы его изнутри. Он стоял, прижавшись спиной к стеллажу, и слушал собственное дыхание, а перед глазами всё ещё стоял город — ровный, чистый, одинаковый, с девочкой посреди площади, с пустой библиотекой, с детьми, которым не за что держаться.

Он думал о том, что прожил тридцать один год в шумном, грязном, неправильном мире — и никогда не благодарил его за это. За шум. За грязь. За неправильность. За то, что можно было ошибаться. Ему казалось, что мир должен быть другим — лучше, чище, правильнее. Он строил машину, которая должна была всё исправить. И вот он увидел исправленный мир — и понял, что исправлять было нечего. Мир был не сломан. Мир был жив. А живое всегда ошибается. Ошибка — это не сбой системы. Ошибка — это признак того, что система живая. Система, которая не ошибается, — не работает. Она не живёт — она имитирует жизнь.

Старик стоял напротив, глядя на него спокойно.

— Ты видел, — сказал он.

— Видел.

— И теперь знаешь, зачем я пришёл.

Воронцов молчал. Он знал. Но ответ, который он носил в кармане — жёлтый лист, четыре строки, — вдруг показался ему другим. Не предупреждением. Приглашением.

Он вытер лицо рукавом. Холод в груди не проходил, но стал меньше — слёзы выпустили его наружу. Он смотрел на Старика, на себя, которому шестьдесят девять, и впервые за весь этот час понял, почему тот не сказал ему ничего о городе до того, как показать. Потому что слова были бы слишком лёгкими. Город нужно было увидеть. Город нужно было пронести — как пронёс его он сам, тридцать восемь лет, не имея права рассказать никому.

— Ты показывал это всем? — спросил Воронцов. — Всем версиям?

— Всем.

— И все решали?

— Все решали. И все шли дальше. — Старик помолчал. — Потому что есть разница между тем, чтобы увидеть, что мир мёртв, и тем, чтобы решиться его убить. Видят все. Решаются — единицы. И единицы доходят до конца.

— До какого конца?

— До того, где ты сейчас. До вопроса, на который нет ответа у тех, кто знает.

Воронцов посмотрел на него долго, потом сказал вслух:

— «Мы уже пытались».

— Да, — сказал Старик. — Мы уже пытались. Все, кто пришёл до меня. Все версии, которые я помню. Каждая из них пыталась закрыть это. И каждая приходила к одному и тому же.

— К чему?

Старик посмотрел на него долгим взглядом — тем самым, с терпением.

— К тебе.

Воронцов хотел спросить «почему», но не успел. За его спиной, на лестнице, кто-то спускался. Шаги были тихие, но решительные, и Старик, услышав их, странно изменился: он не напрягся — он приготовился.

— Кто это? — спросил Воронцов.

— Позже, — сказал Старик. — Сейчас слушай меня. И запомни одно: ты ещё не выбрал. И пока ты не выбрал — у тебя есть выбор.

Он говорил быстро, как говорят, когда времени мало, — и Воронцов впервые за весь вечер увидел в нём не терпение, а торопливость. Старик тоже умел спешить. Он просто почти никогда не позволял себе этого.

— Выбор между чем? — спросил Воронцов.

— Между тем, чтобы продолжить, — и тем, чтобы вернуться. Это не выбор «за» или «против», пойми. Это выбор «видеть» или «не видеть». То, что ты сейчас видел, — не конец. Это начало. Дальше будет больше, и всё это тебе придётся носить. Ты можешь остановиться. Марина наверху — она вернёт тебя в мир, где дождь идёт как надо. Ненадолго. Но вернёт.

— А если не остановлюсь?

Старик посмотрел на него — и в этом взгляде Воронцов прочитал то, что не было сказано: «тогда добро пожаловать в мою жизнь». И, несмотря на всё, что он видел, Воронцов вдруг понял, что всё равно хочет туда. Не потому что город ему понравился. А потому что теперь он знал: там есть что исправить. И исправлять — это то, что он умеет лучше всего.

Шаги приближались. Воронцов обернулся — и в темноте лестничного пролёта, в луче тусклой лампочки, увидел фигуру, которая спускалась к ним, — и у него перехватило дыхание.

Это была Марина.

ЗАПИСЬ 5

Цена исправления

Ноябрь 2049 года. Подземный архив, НИИ темпоральных систем.

Оператор: Воронцов А. Участники: Воронцов А., Белова М. А., старшая версия оператора.

Марина спустилась на нижний ярус и остановилась, увидев их. Она смотрела на Старика — и Воронцов видел, как она узнаёт его. Не потому что он был похож на Алексея. А потому что она уже видела это лицо — на фотографии 2051 года, в архиве. Человек, который однажды сказал ей, что Воронцов умрёт в 2052-м.

— Вы, — сказала она тихо.

Старик кивнул.

— Я не причиню ему вреда, — сказал он. — Я — он.

Марина перевела взгляд на Воронцова. В её глазах было что-то, что он видел редко: растерянность. Она умела всё понимать — а здесь понимать было нечего. Она пришла сюда, в подвал, потому что Воронцов не выходил слишком долго, а в этом институте уже привыкли, что он не выходит только когда что-то случилось. Она искала его. Она нашла его — разговаривающим с собственным отражением на тридцать восемь лет старше.

— Он показал мне город, — сказал Воронцов. — Через память. Город 2087-го.

— Какой город?

— Наш. Через тридцать восемь лет. Только не наш.

Марина подошла ближе. Она не села — встала у стеллажа, скрестив руки, готовая уйти в любой момент. Воронцов знал этот жест. Так она стояла перед трудными разговорами.

Она посмотрела на Старика долго, изучающе — как смотрит физик на незнакомый прибор: не с недоверием, а с попыткой понять. Потом перевела взгляд на Воронцова.

— И что в этом городе? — спросила она.

Воронцов не ответил сразу. Он не знал, как рассказать ей про девочку, которой некуда с шаром. Про библиотеку, из которой не выйдет ни одной новой книги. Про детей, которым не за что держаться. Он попробовал подобрать слова — и понял, что их нет. Город нельзя было рассказать. Его можно было только показать — или промолчать, унося его в себе, как уносил его Старик тридцать восемь лет.

— Тихий, — сказал он наконец. — Самый тихий город, который я видел.

— Это плохо?

— Не знаю, — сказал Воронцов. — Я пока не решил.

Старик достал из внутреннего кармана плоскую, тёмную пластину — незнакомо вида, тоньше любой бумаги, с гладкой матовой поверхностью, на которой при нажатии проступали строки. Он положил её на коробку.

— Это реестр, — сказал он. — Перечень исправлений. За тридцать восемь лет.

— Сколько их? — спросил Воронцов.

— Двести четырнадцать тысяч шестьсот.

Марина не шевельнулась. Воронцов почувствовал, как в горле пересохло. Он представил себе это число — не цифрами, а людьми. Двести четырнадцать тысяч шестьсот исправлений. Даже если каждое касалось только одной жизни — это больше, чем население города, в котором он вырос. И каждое из них было сделано руками, которыми он сам когда-нибудь будет работать.

Он посмотрел на Марину. Она стояла неподвижно, и лицо у неё было спокойное — слишком спокойное. Воронцов знал это её состояние: она не верила, что число можно осмыслить,

поэтому не пыталась. Она просто запомнила его, как запоминают пароль, который пригодится позже. «Двести четырнадцать тысяч шестьсот». Она произнесёт это число через неделю, через месяц, через десять лет — Воронцов был уверен, — и каждый раз оно будет звучать у неё как приговор, вынесенный всему человечеству.

— Двести тысяч... — повторил он. — И каждое что-то изменило.

— Каждое. Это закон, по которому работает «Хронос». Называй его как хочешь — законом, правилом, ценой. Но он работает, и пока ты его не поймёшь, ты будешь думать, что имеешь дело с машиной, которая переносит людей. Она не переносит. Она переписывает причину. И у этой переписи есть цена.

Старик стал объяснять. Он делал это неторопливо, как человек, который тридцать восемь лет объяснял одно и то же, — но не как учитель, а как свидетель. Воронцов слушал, и город из памяти вставал перед глазами: чистый, ровный, одинаковый.

Первое правило — якорь.

— Прошое нельзя исправить просто так. Можно исправить только то, что было зафиксировано. Запись, документ, свидетель, след. Что никто не видел и не записал — то жёстко. Его не тронешь. Поэтому «Хронос» работает не с историей — с её описью. Он меняет не то, что случилось, а то, что об этом знают.

— Но вы изменили фотографию, — сказал Воронцов. — Её же видели.

— Вот именно. Её видели. Она была якорем. Фотографию переписали — значит, изменилось и то, что на ней. А дождь, который шёл «не так»? Дождь никто не фиксировал. Он просто пошёл чуть иначе — в ту сторону, куда его толкнула поправка. Мелкая правка тянет за собой только то, что с ней связано. Остальное не трогает.

Марина нахмурилась.

— А если я захочу изменить что-то, что записано в тысяче документов?

— Тогда тебе нужна тысяча якорей. Или один — самый сильный.

— Какой?

Старик посмотрел на Воронцова.

— Живой человек. Человек — самый сильный якорь. Потому что он несёт в себе память, привычки, связи. Перепишешь его — перепишется всё, что вокруг него.

Воронцов вспомнил Марину, которая помнила седого человека. Вспомнил, как пошатнулся мир под ногами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.